

С Битовым познакомила меня то ли поздней осенью, то ли в самом начале зимы Змеинового, шестьдесят пятого года, смогистского, для всех, в столице, в провинции, за границей, везде, где знали об этом, Алёна Баилова.

Встреча, весьма знаменательная, для Андрея и для меня, – начиная с которой впоследствии чередой потянулись долгою годы дружбы нашей, не очень-то на другие дружбы похожей, но зато дававшей обоим нам, неизменно, стимул для творчества, вдохновлявшей то на поступки непредвиденные, такие, что не влезутся сроду в рамки заурядные, то на какие-то фантастические прорывы в состояния непредсказуемые, с озарениями, со взрывами всех эмоций, всех чувств и слов, и возможных перемещений, по чутью, в пространстве, сквозь время, и увиденных, по наитию, несомненно, земных красот и небесных высей, со звёздами, поднимавшими отовсюду нас, хмельных или трезвых, звавшими в путь, вперёд, куда-то туда, в даль, которая открывалась перед нами, как данность, в боль, или в глубь, где крупную соль приходилось нам есть пудами, в бесконечной житейской драме, вырываясь из всяких уз,

чтобы новый взвалить нам груз на усталые наши плечи, чтобы жить нам во имя речи, как умеем, – произошла, разумеется, у Алёны, в квартире, которую знали в шестидесятых все писатели и поэты, художники, барды, учёные, переводчики, просто люди колоритные, вся богема, о которой впору поэму сочинить мне, в моих-то, нынешних, вон их сколько, седых, полынных и отшельнических, у моря, в киммерийской глуши, где вскоре вспыхнут новых свершений зори, в честь надежд и трудов, годах.

Туда, на Садово-Каретную, в старый дом, которого ныне давно уже нет, поскольку был он позднее снесён, и осталась о нём лишь память, в ту пору, во времена крылатые, отовсюду всех, как магнитом, стягивало.

Алёна была звездой, на гребне своей известности, – в пределах московских и питерских, чего, по тем временам, было уже достаточно, и даже с лихвой, но молва о ней легко достигала и прочих мест, во пределах державы родной, – и там, в отдалении от столицы, превращалась уже в легенду, неминуемо, при тогдашнем интересе провинциалов к жизни всей, с ореолом запретности и с печатью неофициальности, на творчестве, разношёрстной донельзя, московской богемы.

Алёна была – знаменита.

Ещё бы! А как же иначе?

Поэтесса – из авангардных.

Смогистка. Жена Губанова.

Хозяйка салона известнейшего, где можно увидеть – всех.

Мы очень дружили с Алёной.

В отношениях наших была – доверительность. Даже больше: доверие. Вера друг в друга. Приязнь. Свет общения. Радость. Участие – в судьбах: её и моей. И – открытость. Внимание. Искренность наших поступков и слов. То тепло человечности, отзывчивость и понимание, без которых не мыслил я дружбы. А дружба – была. И – хорошая дружба. Достойная. Мне ли не помнить нынче об этом? И мне ли о ней – не сказать?

Хорошо приняла Алёна и супругу мою тогдашнюю молодую, Наташу Кутузову, и сдружилась вскорости с ней.

И заглядывать стали сюда мы, на Садово-Каретную, в дом, где гостям всегда были рады, с ноября начиная – вдвоём.

Нет конца и края у осени, всем казалось. Но выпал снег. Стало холодно. Ветер хлопал чьей-то форточкой, рвал афиши в клочья, гнал их вдоль тротуаров. На деревьях остатки листьев, замерзая, слетали вниз, под ногами хрустели. Дни – уменьшались, тускнели. Ночи – удлинялись. И люди шли между ночью и днём, по кромке ледяной, куда-то в пустоты улиц, вытянутых назад и вперёд, в немоту окраин, или, в центре, в неровный гул площадей, и к огням витринным, к полкам с пищею магазинным, к согревающим тело винам, ко всему, что могло спасти от мороза и от печали, от всего, чего все вначале дожидались, о чём скучали, от всего, что вблизи встречали на нелёгком своём пути.

Постоянным нашим желанием было – где-нибудь обогреться, вечерок скоротать, поскольку ни жилья в Москве у меня своего, ни малей-

шего проблеска в непростой судьбе моей – не было, не предвиделось даже, пока что, хоть на лучшее мы и надеялись, без надежды никак ведь нельзя, и поэтому что-нибудь, может быть, в недалёком грядущем изменится, чтобы так вот не мучиться нам.

Только это – не так уж и важно.

Важно – то, что мы были с Наташей, несмотря на невзгоды – вдвоём.

Важно – то, что дружили с Алёной.

Важно – то, что пришли мы однажды к ней, поскольку звала – и ждала.

Мы пришли к Алёне – а там находился недавно приехавший гость из Питера, Битов Андрей, вдохновенный, слегка подвыпивший, разговорчивый, со своей рыжегривой супругой, тоже вдохновенной, немного подвыпившей и весёлой, Ингой Петкевич.

Вдохновлялись они, с удовольствием и с азартом, словно игра у супругов была такая, всем, что им на глаза попадалось, всем, что вспомнилось им случайно, всем, что к слову кстати пришлось.

Вдохновлялись – и окрылялись вмиг, на крыльях своих поднимались над Москвой, с её холодами, и людьми, и огнями, вдвоём.

Настроение у супругов было, видимо, превосходным – говорили они, вперемешку, о высоком – и о своём.

Нам навстречу они рванулись вместе – словно взлетели оба – не на крыльях ли вдохновенья – воспарили, светом лучась.

Что-то было в этом шагаловское. Знать, отмеченные особо. Ирреальности откровенье. С остранённостью зримой связь.

Познакомились мы. Пригляделись: к нам – они, мы – к ним. По традиции, за знакомство хорошее, выпили. А потом – повторили. Потом – уж само собою, добавили. Постепенно – разговорились.

Попросили меня почитать, по традиции тоже, стихи.

Почитал я тогда, наизусть, всё, что в голову мне пришло.

И стихи мои Битову с Ингой – было сразу об этом сказано после чтения – очень понравились.

По душе им обоим пришлись. Взволновали – до слёз. А иначе быть, наверно, и не могло.

Был я в ту, бесконечно далёкую – (от сегодняшнего междувременья, с обнищанием чувств и мыслей повсеместным, неудержимым, с героическими попытками это всё же остановить, даже, может, восстановить человечность и дух добра, как поэт утверждал, способный силы подлости, да и злобы одолеть), – золотую пору, вправе так я сказать, – в фаворе.

В молодой своей славе. Боже! Это надо же – молодой.

Вспоминаю – и удивляюсь, поседевший, выдавший виды, встарь срывававший покров Изида, чтобы к тайнам прорваться вдруг, сам себе, молодому, в славе настоящей, – неужто вправе я хранить её ответ грустный нынче? СМОГ. Магический круг.

Обо мне – везде говорили. Ждали всюду меня – в столице.

Сочинять обо мне любили – (да и любят ведь!) – небылицы.

Зазывали меня – к себе, приглашали наперебой – в мастерские художников левых, бородатых и безбородых, в общежития, в институтские залы, в чьи-то квартиры, в комнаты коммунальные, где собирались регулярно, в изрядном количестве, любители и ценители стихов, – почитать, почитать, – пообщаться с поэтом известным, легендарным, скорей повидаться с ним, поскольку возможность такая наконец-то

есть, пообщаться с толком, так, чтобы память осталась обо всём, – и ещё почитать!

Вот что значит – известность, братцы и сестрицы. То-то и значит. И забавно теперь, и грустно вспоминать о таком – иногда.

(Вспоминать об этом – теперь.

В дни предательств сплошных и потерь.

В одиночестве. В долгих трудах.

И в ночи – о семи звездах.

И с утра, сквозь щебет пичуг.

И когда тишина вокруг.

И когда налетит норд-ост.

И весной, когда травы – в рост.

И в осенней глуши сквозной.

И зимой, в белизне смурной.

Да и летом, бросавшим в жар.

То-то дан мне блаженный дар.

То-то выпал мне трудный путь.

Постижение эпохи. Суть.

То-то имя моё – со мной.

Свет небесный – и век земной.)

Но – что было, то было. Слово-то – что с ним нынче такое? – «было».

Может, слово сгодится – «есть»? Оба – дышат. В полную силу.

Оба – живы. Оба – зовут.

Из былого. Из настоящего.

Из грядущего – предстоящего?

Им обоим? В ладье плывут?

По волнам? В облаках? Вдали?

Поднимаются ввысь? Взлетают?

И туманы под ними тают.

И склоняются ковыли.

Оба вспомнятся, как ни волынь.

Время наше – свеча и полынь.

К тому же, в глазах моих современников многих, я выглядел страдальцем, и даже мучеником, на себя принявшим страдания и мучения все, боровшимся, средь бесчасья, – за правое дело.

За поэзию. За свободу.

И молва по Москве гуляла, и летела, на юг, на север, на восток, на запад, и там умножалась и разрасталась:

– Пострадал – от властей.

– За что?

– Где?

– Когда?

– Почему?

– За СМОГ!..

Лидер СМОГа. О СМОГе все поголовно в те годы знали.

СМОГ – такого наделал шуму, что глухие его отголоски до сих пор повсеместно слышны.

СМОГ – подобье большой войны.

Кто в ней – выиграл? Кто – проиграл?

Мы – прошли сквозь её горнило.

Все. И – с честью. Что было, то было.
Дух эпохи. Бахов хорал.

Вечер давний тот у Алёны оказался не только удачным и не только, для всех нас, памятным.

Оказался он, может быть, знаковым.

Для меня с Андреем – для двух мужиков, совершенно разных, и по возрасту, и по судьбам, но и схожих в чём-то, живущих поэзией, всем настоящим искусством, свободолюбивых, известных в богемных кругах, таких, пусть и каждый по-своему, колоритных, вроде – полярных, но, при всём при том, родственных личностей, – этот вечер стал самым началом долголетней и сложной дружбы.

И для наших супружеских пар – для меня с Наташей Кутузовой и для Битова с Ингой Петкевич – этот вечер стал добрым началом нашей дружбы – сквозь годы – семьями.

До того, разумеется, часа, когда семьи наши – распались.

Но до этого было в ту пору, слава богу, ещё далеко.

А пока что нам было общаться – четверным – всегда интересно.

И полезно, поскольку творчеством жили все мы, – замечу теперь.

Андрею Битову было тогда двадцать восемь лет.

По давнишним, богемным понятиям, с парадоксами их и загадками, закидонами и претензиями на солидность и взрослость, – немало.

По теперешним, с их, оваянным преждевременным опытом грустным, выживанием, впрямь искусством, да ещё и серьёзным, – немного.

Был он строен, скуласт, лобаст.

Беспокоен, плечист, очкаст.

Под настрой, под хмельком – речист.

В каждом жесте своём – артист.

Спину держал – прямо.

Шагал по земле – широко.

В комедию или в драму?

Вписывался легко.

Говорил – уверенно, громко, на низах уходящим в бас, на верхах залетающим в тенор, сочным, бархатно-влажным, густым, пряным, барственным баритоном.

Руки битовские – были крепкие, с длинными, твёрдыми пальцами, на которых бросались в глаза тоже длинные, твёрдые, странные, заходящие на подушечки пальцев резкими полудугами, желтоватые, вроде когтей, в кожу накрепко вросших, ногти.

Что-то было в этих ногтях, думал я, не совсем человеческое.

Звериное? Птичье? Не знаю.

Подобных – не припоминаю.

Таких вот, изогнутых, твёрдых, костяных, копытных, когтистых, больше ни у кого я, нигде, никогда, не встречал.

Скулы были – восточные. Азия?

Разгулявшихся предков фантазия?

Или, может, иная оказия?

Вход к отгадке закрыт на засов.

Европейское – близко маячило.

И – довлело, и что-то да значило.

И – курочило явь, и корячило.

Не носил он – пока что – усов.

Глаза под очками – круглые.

Со слезою набухшею, карие.

Когда же снимал он очки – глаза становились узкими, косящими, вроде Монгольскими? Не знаю. Нет, вряд ли. Китайскими? Похоже на то. В чайна-тауне сочли бы его – своим.

– Обе мои петербургские бабки, – сказал, подвыпив, Битов однажды, – немки.

Сделал на этом, походя, нужный ему – акцент.

Заострил, ненароком, исподволь, без лишних деталей, – внимание.

Словно Джеймс Бонд, из фильма. Больше: двойной агент.

Суперпрофессионал, всё просчитавший заранее.

Шучу. Всё проще, на деле.

Скулы его – бронзовели.

Цвели азиатским огнём.

И немецкое – было в нём.

Было. Вот оно. Вас ист дас?

Тут же выросло – в нужный час.

Из каких же он всё-таки немцев?

Понятно, что из обрусевших, причём – обрусевших давно, петербургских, традиционно, для России, считавшихся русскими, но – с немецкими, в прошлом, корнями.

Без конкретики это, без фактов, на поверхности, так, для словца, для случайного упоминания, обтекаемо, без подробностей.

Изначально же – из каких немцев? Может быть, он – из гессенцев?

Представлял я себе, как встарь это племя, довольно странное, во главе с предводителем, Кисеком, называемым русами всеми иронически, просто Киськой, издалека, с Востока, от самой границы с Китаем, от рубежей туманных Иньской обширной земли, пришло на русские земли европейские, а потом переместилось и западнее, на земли немецкие нынешние, где часть потомков его, изрядная, обитает и поныне, считается при этом, как положено, именно немцами.

Ездили эти люди за забавных, косматых, маленьких, но выносливых, неприхотливых и в походах удобных лошадках.

Люди эти – носили косички.

Отсюда, кстати, припомнил я сейчас, и пошла эта мода – носить парики с косичками, в столетия прежние, в армии, в Европе, на прусский манер.

Кисековы – или Киськины, если по-русски, – гессенцы.

Не из них ли Андрей? Похоже.

Ну а может быть, из других, вон их сколько на свете, немцев.

Германские племена – кареглазые, круглоголовые.

Их немного было совсем, по сравнению со славянскими.

Остальные, так называемые немцы нынешние, – славяне.

Онемеченные, позабывшие и язык свой родной, и корни.

Светлоглазые, светлоголовые. Жертвы давней ассимиляции.

Прибалтийские русы. И прочие. Древний русский мир – был велик.

Эх, история! Сплошь – многоточия. Ко всему человек привык.

Прорубили – в Европу окно.
И – в России немцев полно.
Прижились. Обрусели – вновь.
Петербуржцы. И – вся любовь.

Предки Андрея какие-то, кажется, по морской части служили. Точно не помню сейчас. У него лучше вы сами спросите.

Его мать, незабвенная Ольга Алексеевна, мне говорила:

– Андрей, уже с малых лет, знал, что будет писателем. Если спрашивали его, кем он хочет стать, когда вырастет, отвечал он тут же: «Писателем!» И – сами видите – стал.

(От корня идите, граждане любезные, лишь от корня. Спрашивайте. Отвечаю. Отвечайте. Сызнова спрашиваю. Отвечаю – всем тем, что есть у меня, у вас, и у всех. Всем, что есть. Что было. Что будет. Всем. Что есть. У меня. Всегда. Где бы ни был я. Что бы ни делал. Как бы чем-нибудь я ни мучился. Как бы, выжив и встав, ни радовался. Что бы там, на воле, ни пел. С кем бы там, на пути, ни общался. И когда бы в глуши ни жил. В корень смотрите. Помните. В корень. Идите от корня.)

И ночь. И день. И весна. И утро. И вечер. И осень. И зима. И свеча. И лампа. И лето. И вздох. И взгляд.

Созвездья седые. Струны. Глухие, в пустыне, луны. Лихие, в тиши, кануны. Каноны. Вперёд. Назад.

Прорывы в пространство. Знаки. В степи, за холмами, злаки. Не дремлющие собаки. Сады. Пруды. Сторожа.

Сквозь время. Сквозь темень. Звуки. Мгновенья. Забвенья. Муки. Прозренья. Синица в руки. Журавль. Остриё ножа.

И ржавь. И наждачный блеск. И скорость, вместо корысти. Приязнь, вопреки боязни. Признание, после болезни. Призвание. Переживанье. Желанье. Имён склоненье. Всех звеньев цепи спряженье. Роенье. Соединенье. Струенье. Сквозь расстоянье. Горенье. Сквозь расставанье. До встречи. Вблизи. Вдали. До неба. И до земли. Сквозь ветер. Сквозь век. Сквозь речь. Куда бы ещё увлечь. Туда, где словам просторней. Сквозь корни. В корень. От корня.)

Битов с Ингой довольно часто, чаще некуда, так скажу я, приезжали, вдвоём и порознь, как уж выйдет у них, в Москву.

Литературные, нужные, дела – и общение, важное, для них, и для всех остальных, – всё было именно здесь.

С ними виделись мы постоянно.

Появившись в столице, они звонили нам. Договаривались о встрече очередной. Мы куда-нибудь к ним приезжали.

Не обходилось без выпивки.

Выпивал Андрей в годы прежние, сколько помню его, всегда.

И не просто, как многие люди, выпивал, от случая к случаю, если повод был подходящий, далеко не всегда, – но и пил.

Впрочем, это дело хозяйское.

Значит, было это ему, почему-то, необходимо.

Наподобие пищи, требовалось.

Помогало держаться уверенно?

Быть смелее? Мало ли что!

Все когда-то мы – выпивали.

(Это нынче я так давно вообще ничего не пью, что начал подзабыть, сколько именно лет это длится.

И вкус питья позабыл давным-давно. И последствия. И похмельные состояния. Всё, что связано было с питьём.)

Выпивали когда-то – все.

Это было – в порядке вещей.

Это был один, просто-напросто, из компонентов общения.

Так скажу я. И это – правда.

Правда – с привкусом алкоголя.

Но – куда от неё деваться?

Вдосталь воли в ней, вдосталь – боли.

Не желает она забываться.

Предостаточно в ней – страданий.

И с избытком – горьких прозрений.

И довольно ли в ней оправданий?

Ну, хотя бы – новых творений?

Разбираться не стану. Поздно.

Всё, что было – временем скрыто.

Потому-то и смотрит грозно.

И – не ищет у нас защиты.

И не хочет, чтоб мы – вздыхали.

Мол, могли бы жить по-другому.

Правда – с привкусом нашей печали.

В ясном небе – подобная грому.

Правда – наша. С ней нету сладу.

И пощады в ней нет, ни йоты.

И бежать от неё – не надо.

Всё понятно в ней. С первой ноты.

Как в мелодии – той, далёкой.

В чистой музыке лет минувших.

Полнозвучной и ясноокой.

Поминающей – всех уснувших.

Продлевающей – песни наши.

И врачующей – дух болящий.

Наполняющей – наши чаши.

Встречей радуя предстоящей.

В Москве Битов с Ингой частенько водили меня с Наташей Кутузовой по своим знакомым, которых было, как и друзей-приятелей, мнимых и настоящих, у молодых, талантливых петербуржцев – хоть отбавляй.

Помню вечные передвижения, торопливые перемещения, туда и сюда, по городу, вечерами, а то и ночами, разумеется – на такси.

Помню, как настежь распахивались двери – и на пороге появлялись мгновенно радостные хозяева, несколько взвинченные, восклицали что-то бравурное вразнобой, приглашали войти.

А там, куда мы приехали вчетвером, – и стол наготове, и, само собою, питьё.

Все давно уже навеселе.

И, конечно, просят меня почитать им стихи. Обязательно. И желательно – прямо сейчас.

Вот уж люди! Вынь да положь.

Отказать – неловко. Проверено. Не поймут. Ещё и обидятся.
И откуда такая любовь, повсеместная, право, – к поэзии?
Но любили стихи – всерьёз.
Время было тогда – орфическим.
И ценил я это умение – понимать поэзию – с голоса.
Не с листа, как теперь, но – с голоса.
И опять приходилось читать.
Было чтение это – искусством.
Те, кто помнят, – небось, подтвердят.
Я читал – и меня действительно все, кто были в квартире, – слушали.
Ещё как! Действительно – слышали. И действительно – понимали.
Понимали – в процессе чтения моего. Понимали – с голоса.
Голос – ключ к минувшей эпохе.
Голос – клич. А может быть – плач.
Голос – выход из лабиринта или, может, из катакомб в темноте бес-
часья – на свет.
На вопросы души – ответ.
Я читал – и каждое слово близко к сердцу людьми принималось.
Это чувствовал я. И знал, что стихи мои – им нужны.
Я читал – как пел. Словно музыку создавал – и она звучала, здесь,
для всех, посреди всеобщей, чуткой, бережной тишины.
А потом – разговоры всякие, похвалы, благодарные отзывы и вос-
торги, порой неумеренные, от которых, тут же смущаясь, я не знал,
куда мне деваться.
Только искренность в этом – была.
Неизменная. Несомненная.
И отзывчивость в этом – была.
Долгожданная. Драгоценная.
Та, которой вовек не прерваться.

В одной из подобных квартир, где-то в центре столицы, в доме, с
виду старом, стоящем отдельно, в стороне от других строений, быв-
шем, видимо, просто флигелем, после чтения моего хозяйка, полная,
рыхлая, крупная, вся уж очень богемная, из таких, что со всеми –
по-свойски, вскочила с места – и, налетев на меня, принялась обни-
мать, целовать, – и я помаленьку пятился от неё, а она – наступала,
надвигалась всем корпусом, шла, как таран, на меня, и с каждым шум-
ным шагом своим, и с каждым всплеском белых, пухлых, мясистых,
унизанных кольцами рук всё оглядывалась на Андрея, повторяя одно
и то же:

– Андрей! Ну, спасибо, Андрей! Вот кого ты привёл ко мне! Володю
привёл! Ах, Володя! Есенин! Ну прямо Есенин! Ах, люблю! Хорошо!
Замечательно! Ах, Володенька! Милый! Хороший! Какой молодой! Как
Есенин! Золотые, смотрите-ка, волосы! Ну, Володя, спасибо! Люблю!

Я не знал уже, как мне быть и куда поскорее спрятаться.
От такого напора – действительно сразу спрячешься. Но куда?
Ничего себе заявления!
Да нашла ещё, сравнивать с кем, ни с того ни с сего, – с Есениным!
Уж чего-чего, а вот этого я просто терпеть не мог.

Первое, что пришло ей в голову, то, небось, в порыве своём и
выпала.

А тут ещё – возраст мой. Молодость. И стихи. И чуб мой, отчасти
кудрявый, золотистый, светлый. И прочее.

Выпитое хозяйкой вино, в немалом количестве, в течение дня, и вечера, и чтения, например.

Не больно-то было приятно мне подобные излияния, даже искренние, не спорю, но чрезмерно бурные, слышать.

Я поглядывал вкось на Битова – что за чушь, мол, что за дела?

Но в ответ он лишь пожимал, театральнo этак, плечами, да руками всё разводил, широко, с каждым разом шире, – что же делать, мол? Знай, терпи. Принимай всё, как есть. Смирись. Видишь – любит народ поэзию. И поэтов. Особенно – дамы.

Приходилось – и вправду терпеть.

И вино мне – в подобных случаях – пусть на время, да помогало.

Только некий осадок всё-таки, горьковатый, – от вечеров, сходных с этим, с полубогемной, полупьяной, восторженной публикой, вроде ряженных, закружившейся в карнавальном, и впрямь повальном, не иначе, водовороте, – всё равно в душе оставался.

Битов легко, мне казалось, – и, пожалуй, так всё и было на деле – в шестидесятых годах сходилcя с людьми.

С московскими, подчеркну. Как с питерскими – не знаю. Но, думаю, без особых затруднений, тоже – легко.

И довольно легко, похоже, находил с ними общий язык.

Но везде и всегда, в любом состоянии, и в любой ситуации, и с любыми собеседниками, собутыльниками, соратниками, приятелями, друзьями, – был сам по себе.

Некоторую дистанцию, между собою – и прочими, кем бы ни были эти прочие, до общенья всегда охочие, а до выпивки так тем более, – умел выдерживать он

Словно черту незримую в воздухе проводил.

Или стену, прозрачную, вроде бы, невидимую, надёжную, прочную, непроницаемую, меж собой – и другими, запросто, и – привычно, уже – умеючи, как-то разом, вдруг, воздвигал.

И – всё. Закрыт. Защищён.

Там, извне, вблизи, вдалеке, в стороне, – какая-то публика.

Здесь, внутри, за чертой, за стеной, за гранью незримой, – Битов.

Со своими заботами. Многими.

Со своими устоями. Строгими.

Со своими, коль надо, трудами.

Так продолжалось – годами.

Об известности громкой своей, о широкой своей популярности – в Москве, у богемной братии, где возможным было признание, где формировалось общее, немаловажное, мнение, где складывался, с годами, исподволь, постепенно, всё более укрепляясь и тяготея к легенде, приемлемый всеми образ, – Битов очень заботился.

Он охотно читал желающим услышать его – свою прозу.

Причём, там читал, где и важно, и нужно было, для дела, с прагматизмом немецким, отчасти, почему бы и нет, почитать.

Это – всегда срабатывало. Безотказно. Его положение, с каждым действием таким, укреплялось.

Это – исправно работало. На образ, прежде всего.

В самом деле, смотрите-ка, он, вроде бы и печатающийся, вроде бы официальный, так уж вышло сразу, прозаик, – оказывался на поверку

вовсе не преуспевшим, не таким уж, везде и всюду, где пожелает, печатающимся, вовсе и не таким, вот ведь как оно повернулось и открылось, официальным, как некоторым казалось.

Выяснялось, тут же, на публике, ну а проще – среди своих, что у него, публикующегося автора, вы представьте только, в столе имеется внушительное количество серьёзнейших сочинений, доселе неопубликованных, и даже таких, которые, по вполне понятным причинам, вряд ли могут быть напечатаны в ближайшее время, и даже, по причинам слишком весомым, вряд ли будут в нашей стране изданы вообще.

Упоминались – таинственные «Записки из-за угла».

Постоянно, в разных домах, говорилось – о том, что он усиленно, напряжённо работает над романом.

Особенным. Небывалым.

Произносилось название, шёпотом, – «Пушкинский дом».

Потом, в свой новый приезд, Андрей привозил, бывало, в Москву главу из романа.

Оповещал знакомых: намерен, мол, почитать.

Устраивалось немедленно чтение. Для своих. В узком кругу, понятно. Без особого афиширования.

Например, на Садово-Каретной, у той же Алёны Басиловой.

Собирались вечером – избранные.

Романиста – внимательно слушали.

Читал Андрей – замечательно.

Потом – похвалы, восторги.

Общие. Обязательные.

И догадки вдруг – о подтексте.

О концепции. О структуре.

О приёмах. О метафизике.

О втором или третьем плане.

О героях. И о сюжете.

И – гадания: что же – дальше?

И так вот – глава за главой – выслушал я когда-то почти весь его новый роман, знаменитый «Пушкинский дом».

Такие, на людях, чтения – реклама очень хорошая.

Такие, вовремя, чтения – мостики своеобразные, протянутые ко всем – тогдашним, давнишним, – нам, к богеме, не издающейся, не имеющей отношения никакого к официальной, полуподпольной, сытой по горло запретами, братии, – мостики, по которым, при некотором желании, вполне можно было к нам, в наш вольный стан, перейти, – и тем самым стиралась грань очевидная, и тем самым устанавливалось, как будто бы, даже некое равенство, или же подобие такового, – мол, все мы одна команда, если быть объективным, ребята.

В наведении регулярном таких вот мостов Андрей большим был специалистом.

К тому же, часто читая свою прозу, он – приучал к себе московскую публику.

Везде к нему – привыкали.

И все – привыкли, в итоге.

И у Алёны Басиловой все считали его – своим.

И у Сапгира его уже считали – своим.

И в доме у Великановых считали – своим. И так далее.

Молодец, Андрей! – ничего по-другому о нём не скажешь.

Ведь был он, вот что существенно, к тому же по-настоящему, и всем это было ясно тогда, ещё и талантлив.

Он учился в шестидесятых – на высших сценарных курсах.

Было модно тогда и престижно – учиться на этих курсах.

Приезжали в Москву – из провинции.

По два года жили – в Москве.

Получали исправно стипендию.

Получали – на время – жильё.

Жили здесь – в своё удовольствие.

Фильмы лучшие все смотрели.

С кем хотели, с тем и общались.

К тайнам творческим приобщались.

Ощущали себя уж ежели не избранныками судьбы, то, по крайней мере, удачниками – пусть, согласны, и ненадолго, – но мало ли что, в любой момент, и, тем более, в будущем, при условии нужных связей, может произойти.

Потом, что правда, то правда, отучившись, набравшись опыта и умения, надо было что-то этакое, особенное, современное, своевременное, интересное, написать.

Сценарий. Оригинальный.

С новизною авторской. Свой.

И – пристроить его, желательно.

(Это было бы замечательно!)

Только это – не к спеху, не сразу.

Это – позже, это – потом.

А пока что – сплошное общение.

И – гульба. И – знакомства. Полезные.

А пока что – свободная жизнь.

Жизнь – азартная, жизнь – богемная.

И не где-нибудь – там, в провинции.

Здесь, в столице. Именно здесь.

На высших сценарных курсах учился, весьма старательно, украинский поэт Иван Драч, основатель будущей «Руха», идеолог, древнего духа почитатель, борец со стажем, широко известный политик, депутат, государственный деятель, а тогда сидевший, по слухам, сиднем, в общежитийской комнате, в окружении москалей, инородцев и всяких прочих, без особых примет, субъектов, с чемоданом своих, авангардных, но с традициями народными, что должны были стать свободными от российских оков, стихов.

Здесь учился отменно хороший армянский писатель Грант Матевосян, печальный, задумчивый, неразговорчивый, весь в своём находящийся мире, там, в горах, вдали от Москвы, тихим творчеством ввысь ведомый от соблазнов земных, человек.

Здесь училась, тогда же, Роза Хуснутдинова. Где ты, проза? Вся – поэзия, тайна, грёза, возникала она – вдали.

Появлялась – и струны пели, и луна в ледяной купели отражалась, и к дальней цели всех капризы её вели.

Стройная, нежная, бледная, восточная странная женщина, такая – одна-единственная, пленительная, таинственная, ходила она в диковинных нарядах, с обритой наголо, завернутой в лёгкие, мягкие, воздушные, образующие то ли подобие некое тюрбана, то ли какой-то сказочный, не иначе, убор головной Шемаханской царицы, своей точёной, сидящей на лебединой, гибкой и длинной, шее, благоуханной, туманной, высоко – среди богемы – поднятой, лёгкой, птичьей, змеиной головкой, держа на весу лицо напудренное, с губами коралловыми, с очами бездонными, тёмными, томными, искоса, исподволь, нехотя горящими жарким огнём.

Про неё тогда говорили, почему-то – всегда вполголоса, или даже – чуть слышно, шёпотом:

– Роза очень, очень талантлива!

Но никто из её писаний ничего никогда не читал.

Были – слухи об этом. Домыслы.

Про талантливость – верили на слово.

Дева-Роза была – загадкой.

Дива-Роза была – звездой.

Здесь, на высших сценарных курсах.

Здесь учился – Резо Габриадзе.

Вспоминаю, как в ЦДЛ, в шумном, дымном кафе, заполненном разномастными посетителями, в самом дальнем углу, за столиком, до предела забитым бутылками, он сидел в одиночестве, пьяный, уронив тяжёлую голову на свои скрещённые руки.

Мы с Андреем к нему подошли.

Поздоровались. Нет ответа!

Мы зовём его. Понапрасну!

Что стряслось? Никого не слышит, ничего не видит Резо.

Битов тронул его за плечо.

Резо Габриадзе очнулся, медленно поднял на нас опухшее, словно обвисшее вниз, неестественное бледное, отрешённое от всего, что творилось вокруг, в кафе, в этом шуме, и гаме, и дыме, вдохновенное – внутренней, видимо, никому не заметной, работой, существующее отдельно от людей, большое лицо, посмотрел на меня и на Битова очень светлыми, утомлёнными, с бесконечной тоской по родной Имеретии чуть мигающими, ну а может быть, и мерцающими, немотою своей говорящими больше, чем любыми словами, по-младенчески робкими, кроткими и по-старчески пронизательными, с умудрённой слезою, глазами, – и сказал – словно выдохнул вдруг:

– Я был в России. Грачи кричали. Грачи кричали. Зачем? Зачем?..

И – вновь уронил свою голову вниз, на скрещённые руки.

Слова его были вроде бы знакомы мне. Из Бальмонта?

Сам он был в столице – залётной, по гнезду тоскующей птицей.

Вскоре стал Резо – знаменит.

Это были – сценарные курсы.

(Это вам не из Гоголя – бурса,

Бульба с люлькой, панночка, Вий.)

Курсы – высшие. С перспективой.

И солидной – в кармане – ксивой.

Путь в кино – как бильярдный кий.

Прям и точен: удар по шару.
В лузу! Что же, подбавим жару.
Путь в кино – счастливый билет.
Кто-то вытянул – вот удача!
Только так – и никак иначе.
Впереди – черед побед.

Здесь училась – Инга Петкевич.
Ничего не знаю – писала ли что-нибудь она – для кино.
Здесь учился – Андрей Битов.
Он сценарии – написал. И по ним – поставили фильмы.
Сонмы звёзд и комет хвостатых.
След невольный – в людской молве.
Это было – в шестидесятых.
Посреди Союза. В Москве.

Помню, как-то я Инге с Андреем прочитал – наизусть, конечно, – у Алёны Басиловой, вечером, в час, когда уже выпито было всё, до капли последней, спиртное, и народ по домам расходился восвояси отсюда, лишь мы оставались, и всё говорили о высоком, и кофе пили, и, за тихой беседой, курили, и волокна дымные плыли к потолку, – стихи Кублановского.

Ранние. И, по-моему, симпатичные. Со своим, юношеским, с наивной, надтреснутой ноткою, голосом, и со своим, какое уж было тогда, лицом.

Неизданные доселе. Старательно позабытые Кубом, в угоду поздним, трезвым его писаниям.

Реакция Битова с Ингой оказалась быстрой и жёсткой.

Оба сразу же заявили, не стовариваясь:

– Нет, не то!..

И тогда я Инге с Андреем прочитал – наизусть, естественно, по привычке своей давнишней (и теперешней, признаюсь, только реже это с годами, что ж поделать, со мной бывает, хоть привычка сама жива, сохранилась), – под настроение, в тишине, которая вдруг воцарилась в Алёниной комнате, напряжённой какой-то, праздничной, вдохновенной, – стихи Губанова.

Реакция Битова с Ингой была мгновенной, восторженной.

Оба тут же воскликнули:

– Здорово!

Пояснив:

– А вот это – то!..

Почему-то заволновались:

– Лёня! Лёничка! Молодец!

Обратились – вдвоём – к Алёне:

– Он когда придёт, наконец?

– Он в запое, – сказала Алёна. – Протрезвеет – и сам придёт. Отовсюду, где пьёт с друзьями, он дорогу сюда найдёт.

Покачал головою Битов:

– Повидаться хочу я с ним.

Рыжей гривой тряхнула Инга:

– Он судьбою своей храним.

И достал из сумки бутылку, им припрятанную, Андрей:

– За Губанова, за поэта, надо выпить – и поскорей!

Вот и выпили мы за Лёню.

Ветерок залетел в окно.

Стало грустно тогда Алёне.

Горьковатым было вино.

Попрощались мы с нею. Встали.

Вышли в мир, чей был чуток сон.

В ночь, где люди чего-то ждали.

В речь, живущую вне времён...

Однажды в чьей-то квартире мы, как всегда, выпивали.

Я, как и всегда, по традиции тогдашней, читал стихи.

Андрей, запомнив их с голоса, повторял то и дело запавшие в душу ему, глубоко и надолго, видимо, строки:

– Но раскроется роза, и в ней – золотая пчела удивления.

Он ходил, вдоль стола, вдоль стен, – и эти слова твердил.

Стихи были – новые. Много тогда я работал. Не только ведь с Битовым выпивал. Вырастала – новая книга.

Почему-то спросил я Битова:

– Андрей, а сколько ты, в общей сложности, начиная с самых первых вещей, по объёму, прозы своей написал?

Битов остановился. Поправил очки. Хлебнул из фужера. Немного подумал.

Покосился на книжный шкаф, где на полках, в полной сохранности, аккуратнейшими рядами, стояли, одно за другим, собрания сочинений самых разных писателей.

Сказал:

– Ну, если прикинуть, как у этих вот, классиков, – тут он показал на книги в шкафу, – то я тома три написал.

Но взгляд его, устремлённый на собрания сочинений, чужие, был – это бросилось в глаза мне в ту же секунду, – красноречиво-ревнив.

Наверное, и ему хотелось, конечно, хотелось, даже очень хотелось, и это понятно ведь, написать – со временем, разумеется – своё, вот именно, собственное, из внушительного числа солидных томов состоящее, собрание сочинений.

Похвальное, в общем-то, правильное желание, для писателя.

Дай-то Бог ему сил для этого.

И упорства. И воли. И времени.

Так рассудил я тогда.

Не припомню, чтоб где-нибудь там, где всегда читали стихи или прозу, где пили чай или кофе, а то и покрепче, позабористее, напитки, вроде водки или вина, в основном, где курили – все, говорили, галдели – все, обсуждали – решительно всё, что годится для обсуждений, рассуждали порой – о высоком, били – чашки, морды, стаканы, жили – странными новостями и делами среды богемной, пели – часто, с душой, под гитару, знали – всё, обо всех, обо всём, что на белом свете творится, ночью, днём ли, здесь или там, были рады поздним гостям, похмелялись, друзьям звонили и знакомым, куда-то плыли по течению или вспять, чтобы жизнь по новой начать, – слышал я Ингу Петкевич.

Её взрослая проза, неизданная, о которой все говорили, что она интересна, талантлива, необычна, свежа, — оставалась, год за годом, довольно долго, для меня полнейшей загадкой.

Но детскую книжку её читал я — и книжка эта мне очень, помню, понравилась.

Инга была ещё и актрисой. Уж точно — яркой.
Недаром снималась в кино.
Пусть в эпизодах. Изредка.
Пусть даже — в массовках. Неважно.
Важно — что в жизни была восхитительно артистична.
Важно — что образ её вспыхивал в шестидесятых — рыжим огнём — на снегу, пламенем жарким — в дождях.

Инга была — особенная.
Инга была — солнечная.
Белая. Рыжая. Жаркая.
Смех её — ржание — жарким был.
Но была в ней порою — прохлада.
И — таимая ранее грусть.
Петербургская дама. Привада.
Европейка. Леди Годива.
Словно лёгкая мгла — над Невую.
Словно рыжая прядь — на снегу.

Любопытная пара была — петербургские гости в Москве — иностранцы почти, люди светские и богемные — Инга с Андреем.

Инга Андрея — не дополняла.
Инга Андрея — лишь укрупняла.
Отдаляла порой — от себя.
Отделяла его — любя.
И тем самым — вновь укрепляла.
Над обыденным всем — возвышала.
Инга была — сама по себе. Вольная птица. Львица.
В храме ночей, в драме речей — пленница. И — жрица.
Мерцающий жар зрачка.
Припухшие губы: роза.
Плечо. Изгиб локотка.
И разве всё это — проза?
Волос — в огне — завитки.
В руке — сигаретка. Чары?
Пожалуй. И в них — силки.
Для певчего — свыше — дара.

Квартира занятая — в Питере, на Невском. Вблизи — Московский вокзал. Квартира — шарада. Но, может быть, так и надо? И в этом-то — вся отрада? И нет в ней — лишних примет?

Две комнаты. Нет здесь — быта. Раздоры и страсти — скрыты. Пододбе гнезда — не свито. Есть — кофе. А хлеба — нет.

Есть — стены, почти пустые. Обои. Две-три картинки. Ворошилов — подаренный мною. Кулаков — подарок от автора — загогулины всякие, вроде иероглифов, с вывертом, — Битову.

Есть – высокие, вроде бы, – окна.
Есть – высокие, вроде бы, – двери.
Потолок – похоже, высокий.
Пол – как двор: просторный, пустой.
Две-три пары туфель в углу.
Три-четыре чашки. Тарелка.
Блюдце. Пепельница. Кофемолка.
Стопки книг – их не сразу заметишь.
Рюмки. Ложки. Две-три бутылки.
Сигареты. Часы. Очки.

Есть – письменный стол-корабль.
Огромный. Фрегат на рейде.
За столом – руки вытянув – Битов.
Над столом, за спиной Андрея, на стене, над его головой, – фотография: человек, пожилой, а в руке – сачок, – ловит бабочек? – что за блажь? – взгляд – лукавый, умный, – в упор, и – насквозь, и – навек! – Набоков.

...Петербургские сумерки. Вечер.
Стол-фрегат. И на нём – капитан.
Петербургский писатель. Битов.
И над ним – в небесах – Набоков.
И за ним – за домами – Нева.
За Невою – залив. И – море.
Незабвенные времена.
Колыханье шестидесятых.
Полыханье Ингиной гривы.
Битов. Проза его. Глаза.
Стол-фрегат. Перед ним – стихия.
Петербургская ночь. И – речь.
Значит, стоили встречи – свеч?
Ночь. Набоков. Очки. Сачок.
Две слезинки – в ночи – со щёк.
Две ли? Больше ли? Так, две-три.
Не заметили? Что ж, сотри.
Что же стало, Андрей, судьбой?
Будь – собою. И – Бог с тобой!..

Как-то исподволь, незаметно, я привык и к тому, что есть он, что присутствует в мире он, и к тому, что пишет он прозу, говорит – всегда интересно, колоритен, оригинален, обаятелен, пьян порой или чуть во хмелю – с друзьями, но в делах – прагматичен, трезв, – и во всём, что делает он, есть, похоже, неповторимость, Божья искра – с людскою волей, что-то свыше – и слишком земное, почва твёрдая под ногами, над которой – воздуха знак.

Битов – Огненный Бык. Особенный. Он родился – в тридцать седьмом, под созвездием Близнецов, двадцать седьмого мая.

В этот день, в шестьдесят втором, в Кривом Роге, я написал:

– Тучи ушли на запад, бок земле холодя, – только остался запах спелых капель дождя.

Мне было – шестнадцать лет. Писал я тогда, стихи и прозу свою, – запоем.

В этот день, в восемьдесят третьем, умерла моя любимая бабушка, баба Поля, мамина мама, Пелагея Васильевна Железнова, урождённая Кутузова.

Бабушка моя, с её чутьём и огромным ведическим опытом, поняла Андрея – мгновенно, и потом, позднее, порой очень верно всегда мне о нём говорила.

В этот же день, и тоже в тридцать седьмом, родился мой криворожский друг Рудик Кан.

В этот день, в шестьдесят пятом, перед моим отъездом на Тамань, в Москве, Артур Владимирович Фонвизин, слушая, как я читаю стихи, написал мой портрет.

В этот день, давным-давно, в самом начале шестидесятых, по-настоящему, навсегда, ощутил я себя – поэтом.

Вот какой это день, когда появился на свет Андрей. Вот какой это день. Майский. Под созвездием Близнецов.

Чумаки – в Крым, за солью, – веками ездили на волах. В образе быка громовержец Зевс на спине могучей своей нёс по волнам Европу. Быки – всегда были рядом с людьми.

Битова – отовсюду – всегда вывозил на себе – огненный Бык. Огненный. Тотем его. Фирменный знак.

Такой же тотем, как у Битова, и такой же знак зодиака был – почему-то вспомнилось это – и у Волошина.

Совпадений и параллелей – вдосталь. Все – далеко не случайны. Что за мистика? – скажут. Наша. Наши судьбы и наши тайны.

Битов. Огненный Бык.

Было ли в нём – демоническое нечто? Не было вовсе.

Это – совсем другие категории. Не для того, кто слишком привязан к земле.

Но было в нём – некое постоянное попадание в десятку, неизвестно каким способом, было – как в картах – вечное везение, неизменное двадцать одно, – было в нём – как бы это сказать поточнее? – что-то такое, сфокусированное на нём, откуда-то, – но откуда? – остаётся только гадать, – будто постоянно был он в направленном на него, световом, хоть и неярком, не бросающемся в глаза, не ослепительном, не магнетически властном, наоборот, неброском, однако – не гаснущем, не исчезающем, наоборот – устойчивом, чётком луче – непонятно из какого фонаря, – будто где-то там, и поди гадай – где, неизвестно какие существа – поставили на него, и наблюдают за ним, и помогают ему постоянно, и заботятся о том, чтобы он всё время был в выигрыше, был удачлив, был – на виду, был – в какой-то мере эталоном современного человека, писателя, мужика, с машиной, квартирой, дачей, изданиями, известностью отечественной и заграничной, со своим – отработанным, надо заметить, и не в смысле создания образа, но – проще, определённое, отработанным – как на работе, в институте ли, на производстве ли, всё равно, усердно, по-честному, с бесконечным старанием, имиджем, как сейчас говорят, со своим, привычно солирующим, но никак уж не в хоре, голосом, со своим, давно путешествующим, бодро движущимся в пространстве, в жёстких рамках – ему отведённого, на игру его всю, по крупной, на его пребывание в мире,

или – существование в яви, без участия прави в нём, без возможного, в будущем, выхода – в измерения новые и в другие миры – дорогого земного времени.

Дорогого. Ведь в нём – успех. Что же! Этимология этого слова – предельно ясна. От другого слова – успеть. Актуально это, не правда ли? Современно, и даже – модно: здесь, в юдоли, – взять да успеть.

Всё – успеть. Получить – при жизни. Всё, что можно. И даже – больше. Непременно – успеть. А потом? Ах, да мало ли что – потом! Важно всё получить – сейчас. Поскорее. Сию секунду.

Можно – петь. А можно – успеть. Можно – пить. Но только – не спать. Только – в путь. Успевать. Повсюду. Что-то – можно стерпеть. Но – успеть. И – своё навестать. И – встать. Меж других. Современным героем.

Надо всем, что мешало, – встать.

Всё – успеть. И – своё сказать.

Слово? Именно слово. Как?

Здесь поможет – воздуха знак.

Так сказать, чтоб – не в плач, не в крик.

Здесь поможет – Огненный Бык.

Помогают. Успеть – скорей.

Не горюй о былом, Андрей!

Что за силы? Откуда – весть?

Света – мало. Темноты – есть.

Что за вера? – Во что? В кого?

Чьё же – всё-таки – торжество?

Чья же – всё-таки – здесь игра?

Чьё-то *завтра* – его *вчера*.

Чьи же – всё-таки – свечи здесь?

Завтра – поздно уж. Нынче. Днесь.

Так, в пределах земных, – вперёд.

Что-то оторопь вдруг берёт.

Но задерживаться – нельзя.

Где-то в мире – его стезя.

Или, может быть, – вздох о ней?

Где-то на людях – в пену дней.

Как в волну – головой. Нырок.

И – наверх. В суету дорог.

В темноту – как на свет. Не вдруг.

Воздух – знак. На земле же – круг.

В круге дороги – век и миг.

В путь – по кругу. Огненный Бык.

Был ли способен он, иногда, хотя бы, а может быть, и довольно часто, поскольку жизнь сама призывала к этому, и не раз, и не два, но многожды, на поступки? Да, разумеется.

Способен ли был – на подвиги? Вряд ли. Ведь здесь нужны – самоотверженность, жертвенность, нешуточное горение.

Андрей был всё-таки слишком уж замкнут на всём, что было в нём собственным, личным, удельным, родным, на себе самом, что-бы, во имя подвига, творческого, допустим, пожертвовать вдруг земным своим временем – и движением своим, путешествием, долгим,

непрерывным, своим – на север, на юг, на восток и на запад – в пределах земного круга.

Был ли он мне настоящим, добрым, хорошим другом – хотя бы в шестидесятых? Думаю – всё-таки был.

Потом, позднее, с годами, – было уже не то. Просто – я это видел, – срабатывала инерция.

Но какое-то неизменное, долговечное изумление в душе его – по отношению ко мне, и к моим стихам, и ко всем остальным трудам, ко всему, что со мною связано, – полагаю, доселе осталось.

Да, осталось. Что живо, то живо.

Был ли он способен, хоть изредка, хоть единственный раз, на предательство?

Не хочу говорить об этом.

Если что и было когда-нибудь – то с него, как известно, и спросится.

Бог ему – да и всем нам – судья.

Битов – не пешеход. Он – автомобилист.

Вереницей, из года в год, чередою долгой прошли, появляясь во всей красе, чтоб исчезнуть потом вдали, в лабиринтах бывших дорог, им сменяемые машины.

Он – давно уже за рулём. Словно сросся с автомобилем.

Современный кентавр? Не знаю. Кентавр – существо загадочное. Попробуй-ка разберись – кто он, собственно, был ли он?

В случае с Битовым – всё неизмеримо проще.

Он – человек в седле. Мягком. Автомобильном.

Для него машина, любая, – просто-напросто необходимость.

И сейчас впечатляет это. А по старым-то временам – впечатляло куда сильнее!

Марку Андрей держал – во всём. В том числе и с машинами.

Тем не менее, были они для него, человека в седле, прежде всего, удобным средством передвижения.

Однажды приехал в Москву он – из Грузии – на машине. Без ветрового стекла.

Разбил. Заменять было – некогда. Торопился писатель в столицу.

Да ещё и понравилось вдруг – ехать к северу именно так.

Ветер в лицо. Романтика? Может быть. Ну и что?

Гаишники – останавливали. Удивлялись: что за причуда?

Но что они, эти гаишники бестолковые, понимали, если – ветер хлестал в лицо, если прямо в глаза – пространство!

Было холодно, даже очень. Заболеть мог любой. Но – не Битов.

Битов холода – не замечал. Не хотел замечать – и всё тут.

Характер. Упрямство. Пристрастие – к дорогам. Воля. Желание – на колёсах, без чьей-либо помощи, пусть и в холоде, но – добраться – самому, как всегда, – до Москвы.

И – доехал благополучно. Ничего с ним в пути не стряслось.

Битов был – всегда при деньгах.

Даже в молодости. Неизменно.

Почему-то – умел зарабатывать.

Хорошо, что – умел.

Битов был – всегда на коне.

С самых первых шагов своих.

С самых первых своих публикаций.
С первой книги. И с первой рецензии. Вот на эту – первую – книгу.
Никогда он коня – не менял. Даже на переправе.
Через реку? Это – не Лета.
Через озеро? Это – не море.
Через море? Это – не бездна, из которой выхода нет.
Выход – был. Всегда находился. Из любых – везде – состояний.
Сквозь любые – всюду – преграды.
Переправиться. Преодолеть.
Пережить – и добраться. Успеть.
На ходу. На коне. В седле.
По земле. По земле. По земле.
Иногда – над землёй. И – назад.
Чёткий принцип и трезвый взгляд.
На людей. На вещи – в труде.
Быть – так здесь. Никогда – нигде.
Не витать в облаках. Есть – путь.
Видеть смысл в этом. Или – суть?
Не всегда. Что пером скрипеть?
Есть – машинка. Издать. Успеть.
Есть – машина. Дорога – есть.
Сесть в седло – и... Куда? – Бог весть!

Однажды, в шестидесятых, услышав мои переводы с грузинского и расчувствовавшись до слёз неожиданных, Андрей решил попытаться их напечатать, а если получится, то, может быть, и стихи мои напечатать, хотя бы подборку, для начала, пусть небольшую, но и то хорошо, в моём-то положении, – и повёл меня, человека не издаваемого во пределах родных, в редакцию журнала «Дружба народов».

А вернее – повёз. И – с комфортом. На машине. Своей, разумеется. Был он автором в этом журнале. Все его там прекрасно знали. Все – любили. А как же – иначе? Это – Битов, это – Андрей. И его – нельзя не любить. Вот мы с ним и поехали. Вместе. Не на выпивку. По делам. За рулём он сидел уверенно и, по-своему, театрально, словно лётчик-ас за штурвалом быстрокрылого самолёта.

Очень шло ему это, всё-таки, – не ходить, как другие люди, по делам, или просто так, – но именно ездить. В машине. Просто так. Потому что – нравится. И особенно – по делам.

Битов был – на коне. В седле. На мягком сиденье своём восседал он свободно, привычно откинувшись на скрипучую, при торможенье пружинящую, и такую удобную, что воспевать её можно, спинку.

С места срывался резко – и машина его, вливаясь в потоки шумные транспортные, вырываясь из них, обособливаясь, летела, скользила, сквозила, стремилась, вперёд и вперёд, по вздымавшей свои этажи к небесам то слева, то справа, расстилавшей асфальт под колёсами, чтоб удобнее было ехать вдаль куда-то, к желанной цели, беспокойной, бескрайней Москве.

Добрались до редакции. Вышли на скрипучий, утопанный снег. Захлопнули дверцы. Шагнули, один за другим, за порог.

Внутри было тесно, тепло.

За столами, плотно заваленными громоздящимися, наподобие восточных ступенчатых пагод, бумагами в папках с тесёмками и грудами всяких книг, сидели какие-то люди.

Оказалось, что сплошь – это надо же, что за чудо журнальное, – дамы. Завидев Битова, все они оживились, заулыбались.

Закричали:

– Андрей! Андрей! К нам пожаловал сам Битов!

И волнение их охватило – да такое, что растеряешься, с непривычки, – ведь как ликуют! Словно праздника дождались.

Дамы с мест уже поднимались – и рвались навстречу Андрею.

Дамы пели что-то по-птичьи, щебетали, охали, ахали.

Дамы – рады были Андрею.

Битов – здесь!

Какая работа?

Подождёт работа.

– Андрей!

– Как мы рады!

– Здравствуйте, здравствуйте!

– Вот сюрприз так сюрприз!

– Андрей!

– Вы надолго к нам?

– Вы откуда?

– Вы куда?

– Вы к нам?

– Наконец-то!

– Дождались!

– Мы рады!

– Андрей!

Дамы – рады. И Битов – рад.

Мне – пути уже нет назад.

Мне – стоять и молчать. И – ждать.

Что же – дальше? Да что гадать!

Андрей, сняв очки, протирая запотевшие стёкла платком, огорошил восторженных дам заявлением громким своим:

– Я привёл к вам сегодня поэта гениального. Да, это правда. Вот, знакомьтесь, Володя Алейников. Перед вами, сейчас. Он – гений.

Дамы – все до единой, услышав это – сразу оторопели.

Я смутился. Взглянул на Битова.

И сказал:

– Ну зачем же – так?

– Ничего! – дружелюбным тоном успокоил меня Андрей. – Говорю всё как есть. Как думаю. А народ – пускай привыкает.

И народ – все дамы, сражённые наповал словами Андрея обо мне и моей гениальности несомненной, – с трудом привыкал.

И к тому, что я молод совсем.

И к тому, что явно стесняюсь.

И к тому, что Андрей говорил обо мне, безусловно, всерьёз.

Нас обоих, поэта с писателем, двух друзей, пригласили присесть.

На расшатанном стуле, сжимая свою старую зимнюю шапку с опущенными ушами, в помещении тёплом снятую, расстегнув пальто, разматыв шарф на шею, руки сложив на коленях, глядя смущённо вдаль куда-то, поверх голов, я сидел под взглядами, быстрыми, перекрёстными,

любопытными, дам притихших редакционных, элегантных и моложавых, неуютно себя ощущая и не зная, куда мне деваться.

Битов, глядя на дам ласково, но и строго, из-под очков, с профессорской ноткою в мягком, низком, с баритональным бархатом властным, раскатистом голосе, невозмутимо, уверенно, продолжал говорить обо мне:

– Володя – следует помнить всем – основатель СМОГа.

Дамы переглянулись мигом. И – напряглись.

Битов сурово спросил их:

– Знаете вы – о СМОГе?

– Как же, как же! Конечно, знаем! – быстро ответили дамы.

И вновь меж собою, с таким значением, переглянулись.

Эх, грустно подумал я, вот он, преткновения камень! Теперь-то всё уж точно, точнее некуда, не впервой ведь это, пропало.

Говорил же я, специально, по дороге сюда, в редакцию, говорил, и серьёзно, Андрею, чтоб запомнил: ни слова о СМОГе!

Так нет же, ну как нарочно, с этого он и начал.

Будто не знает, чего стоил мне этот СМОГ – и как это всё обернулось жестоко потом для меня.

И ещё неизвестно совсем, сколько лет, может, всю мою жизнь, потому что бывает всякое, предстоит мне всё это расхлёбывать.

Да чего уж теперь! Слово – сказано. А оно, как известно каждому, и особенно в нашей стране замечательной, не воробей.

К тому же и это, приставшее ко мне, величание – гением.

Ну разве нельзя без этого хоть когда-нибудь обойтись?

Приклеилась, как ярлык, и не отдерёшь, и не пробуй, ко мне, задолго до СМОГа, эта самая гениальность.

Можно ведь было представить меня сейчас поскромнее.

Люди – сплошь незнакомые.

Кто я такой – для них?

Так, молодой человек.

С Андреем сюда пришёл.

Может так быть? Может.

Мало ли что он взахлёб им обо мне рассказывает!

Люди они – казённые, подневольные, государственные.

В советском печатном органе, под надзором властей, работают.

Редакционные люди.

Люди – официальные.

А тут, ни с того ни с сего, – СМОГ! Да ещё и – гений!..

Андрей, между тем, указывая на меня простёртой ладонью, продолжал говорить внимающим любимцу-писателю дамам:

– Володя Алейников – знать об этом следует вам – знаменитый молодой поэт. Вы читали его стихи?

– Нет, не читали! – взоры потупив, ответили дамы.

– А я вот, представьте, – читал! – сказал им с укором Андрей. – И продолжаю читать. И наизусть кое-что могу прочесть, при желании. Замечательные стихи!

– Верим, верим! – сказали дамы.

– Надо стихи Володины издавать, – сказал им Андрей. – Может быть, с этим в дальнейшем и возникнут какие-то сложности. Я вполне допускаю это. Но Володю – надо издать. Сейчас. И потом – издавать.

И я вижу, кажется, выход. Переводит Володя с грузинского. Замечательно переводит. Я слышал. Мне – очень понравилось. И ведь это – как раз для вашего журнала. Рекомендую вам – его переводы!

– Ах, так? – опять меж собою переглянулись дамы. – Ну, это другое дело. С этим у нас куда проще, нежели со стихами. А то, как сказать-то вам, знаете ли, – обратились они ко мне, то ли ансамблем слаженным, то ли наперебой, да это уже и неважно, ведь всех их воспринимал я, от смущения, от ощущения себя здесь – белой вороной, – всех заодно, вот этих редакционных дам, во множественном числе. – А то ну как объяснить, понимаете ли, Володя, – СМОГ. Мы ведь в курсе дела. Не на луне живём. Кое о чём наслышаны. Стихи напечатать – сложно. А вот переводы ваши с грузинского – это можно попробовать напечатать.

– Вот и попробуйте! – твёрдо и призывно сказал им Андрей.

На стенах редакционного тесноватого помещения разглядел я, резко сощурившись, какие-то надписи, подписи.

То, что в столбик записано, – это, скорее всего, стихи, – догадался я, не пытаясь прочитать хоть одну строку.

А короткие надписи – видимо, афоризмы, остроты всякие.

Ну а подписи – вон их сколько там – их отсюда и не разглядишь.

Редакционные дамы увидели, что смотрю я, сидя на стуле расшатанном и щурясь, на стену, исписанную от пола до потолка почти, во всю ширину, так, что и места на ней свободного не остаётся.

– Володя! – журча и звеня приветливыми голосами, обратились они ко мне. – А вы нам прямо сейчас что-нибудь не напишете? Стихотворение. Или хотя бы четверостишие. У нас – такая традиция. Наши любимые авторы свои автографы нам оставляют, – вот здесь, на стене.

– Да вы ведь, поймите меня, ничего моего и не знаете! – совсем уж смутился я. И растерялся даже, немного. Потом спохватился и продолжил: – Так вот, нежданно, с места в карьер, спонтанно, я не привык. Вы меня врасплох застали. К тому же – я ведь не ваш ещё автор. Вы уж простите меня, но писать я сегодня не буду ничего. Если случай представится – то ещё напишу, потом.

– Ну, потом так потом. Понимаем! – дружелюбно сказали дамы.

Андрей с интересом писательским наблюдал, как я, деликатно, вроде бы, но и решительно, проявляя характер твёрдый, на ненужную мелочёвку не покупаясь, отказываюсь оставлять в редакции этой, по призу дам, свой автограф.

– Да хоть что-нибудь напиши! – подзадорить меня он попробовал неуклюже. – Любые строчки. Хочешь, я подскажу тебе, что здесь можно сейчас написать?

– Нет, нет, Андрей! – отмахнулся я от него. – Спасибо. Не надо. Нельзя так вот, сразу же, лишь бы обнародовать что-то своё, хотя бы на этой стене, привлекать людское внимание любым, даже этим, поспешным и ненужным, в общем-то, способом.

– Ну, как хочешь! Дело твоё! – пожал плечами Андрей.

Дамы снова переглянулись.

– Вы, Володя, – сказали они, – приходите к нам. Со своими переводами. Кстати, они с собой у вас или нет?

Я ответил им просто:

– Нет.

– Вот и ладно! – сказали дамы. – Ничего. Это всё поправимо. Вот мы с вами договоримся – и придёте вы к нам с переводами, на машинке перепечатанными, как положено. Хорошо?

Я сказал:

– Хорошо, я приду.

– Переводы ваши внимательно мы посмотрим, – сказали дамы, – и обсудим потом их, и что-нибудь, посоветовавшись, решим.

– Смотрите и обсуждайте, советуйтесь и решайте. Обязательно! – сделал акцент на слове последнем Битов.

– Ну что же, Андрей, – сказал я, взглянув на него вначале, а потом и на дам-редакторш, – мы, вроде, договорились. Пойдём? Наверно, пора!

– Пойдём! – согласился Андрей.

Прощались мы с милыми дамами.

– До свидания!

– До свидания!

– Заходите к нам!

– До свидания!

Белых ручек лёгкие взмахи.

Взгляды быстрые – и пытливые.

– До свидания!

– В добрый путь!

И – улыбки, почти Джокондины.

Холодок подведённых глаз.

Восклицания:

– В добрый час!

– До свидания!

– Ждём!

– Привет!

Потемнел ли впрямь – белый свет?

Или – рано темнеть ему?

Что за странности? Не пойму.

Иль неймётся Третьему Риму?

Снег нагрянул. За снегом – дым.

Город замер – и стал седым.

Время СМОГа?

Мы вышли – в зиму.

Андрей открыл дверцы машины.

Мы забрались вовнутрь.

– Ничего из этой затеи не выйдет! – с грустью, нахлынувшей внезапно, вымолвил я.

– Почему? – озадачился Битов.

– Потому. Потому что – СМОГ.

– Ну и что? – Андрей удивлённо посмотрел на меня. – Ничего я, получается, не понимаю.

– Зато я хорошо понимаю, – так ответил ему я тогда. – СМОГ, Андрей, это значит – запрет. СМОГ – это чуть ли не рок. Для меня – хороший урок. СМОГ – это значит, и нынче, и впредь – не пускать на порог. В редакции, например. И газетные, и журнальные. И, само собою, в издательства. Там ведь не идиоты законченные сидят. Всё они хорошо знают – и всё понимают. Директивы и распоряжения, сверху идущие

к ним, старательно выполняют. В том числе и о нашем СМОГе. Там напрямую сказано, по-советски: не издавать! Там, в циркулярах этих, я, между прочим, первым номером числюсь. Так-то. По алфавиту, естественно. Поскольку моя фамилия с буквы «А» начинается. Да ещё потому, что власти не желают меня печатать.

– Да? – протянул Андрей. – А я им начал – со СМОГа. Я ведь хотел – как лучше.

– Сказал бы ты им или вовсе ничего не сказал о СМОГе, – пояснил я устало Битову, – это не столь уж и важно. Всё равно они, эти дамы сразу же сообразили бы, что я-то и есть тот самый Алейников. Тот, которого приказано – не печатать.

– Но всё-таки ты попробуй, – буркнул Андрей, – принеси им свои переводы. Вдруг да получится с публикацией?

– Принести-то я принесу, – сказал я, – да вот относительно публикации – сомневаюсь. И даже не сомневаюсь, а знаю, уже сейчас: ничего с ней, увы, не получится. Время такое – сложное – у меня. Свежи у властей наших воспоминания – о недавнем прошлом, смогистском, как его именуют, моём. Появляюсь я часто на людях или редко – везде я чувствую неприятное, странноватое, с подковыркой какой-то, внимание – ко мне, ко всему, что я делаю, что говорю, и так далее, и внимание это значит – непрерывное наблюдение. Плевал я на это, конечно. Да противно, поверь. И грустно. Терпеть приходится. Что же делать? И ждать, как всегда. Жить – и ждать. Да только – чего?

Битов, блеснув очками, закурил, взглянул на меня как-то искоса, сквозь белёсый дым табачный, и промолчал.

Шумно вздохнул. Завёл машину. Тронулся с места. Быстро довёз меня до дому.

Сильный, белый, обильный, слепящий, резко, наискось, густо летящий, с грустью, к радости предстоящей, снег округу заполонил.

Снег, скрывающий все обиды, все следы, от покрова Изида к лёгким радугам светлой Ириды уносящий всё, что хранил.

Снег – белизна. Как с чистого листа – в несусветной темени.

Снег – пелена. Что ж, выстоим сызнава – в чистом времени.

Пелена, за которой, похоже, никакого просвета не видно.

Белизна, за которой всё же проясняется что-то скрытно.

Попрощались мы, как-то наскоро, без особых эмоций, с Андреем.

Почему-то – устали оба.

Говорить было, вроде бы, не о чем.

Всё и так уже было сказано.

Нитью вьющейся с чем-то связано.

С чем? Поди угадай. Попробуй.

Снег казался – белой чащобой.

Дымом. Скопищем зимних дум.

Битов был насуплен, угрюм.

Знать, на это была причина.

Зафырчала его машина.

Он уехал на ней – сквозь снег.

Словно тихий покинул брег.

Вдаль умчался. И – вглубь. И – ввысь.

Вихри снежные поднялись.

Белизна сомкнулась вокруг.

Снег – и СМОГ. Словно брат и друг.

СМОГ – и снег. Словно да и нет.
С чёрным вечером – белый свет.

Я остался один, в глубине тишины, посреди снегопада.
Постоял. Поглядел – куда?
В неизвестность, скорее всего.
И – пошёл домой восвояси.
Хлопнула дверь подъезда.
Лифта я ждать не стал.
По сырým, скользющим ступеням поднялся на четвёртый этаж.
Позвонил. Подождал. Мне открыли.
Я стряхнул с себя снег – и вошёл...

Переводы в «Дружбу народов» я принёс. Потом. С неохотой.
У меня их – взяли. Сказали, что посмотрят. Что надо звонить, узнавать... С публикацией этой ничего, конечно, не вышло.
Всё заглохло – само собой. Будто не было ничего.
Кроме зимнего дня – и снега.
Кроме снега – и слов о СМОГе.
Кроме снега – и зимнего сна.

5

И на свечу смотреть уже больней, чем некогда – на солнце; без оглядки бежать – куда? – с собой играя в прятки, уйти в пространство? – шурясь меж теней, живую плотью влагу раздвигая, душой живую ждать, перемогая тоску – итог невысказанных дней, но ждать – чего? – когда она, другая придёт пора? – я время постигаю, которое чем дальше, тем родней.

Читали тогда – при свечах.
Образ свечи то и дело загорался в наших стихах.
У меня:
– Наше время – свеча и полынь.
У Губанова:
– Но стоит, как свеча, над убитым лицом серый конь, серый конь моих глаз.

Свеча.
Над убитым лицом.

...Лёня Губанов стремительно, так, что его не догнать никогда, ни за что на свете, никому, никаким врагам, кто бы это ни был, менты, кагэбэшники или, может, все возможные силы зла, как бы нынче ни назывались, как бы ловко ни маскировались, но мгновенно распознавались, даже если им несть числа, весь – воплощенье движения, неудержимого, ввысь, весь – безоглядный, отчаянный, молниеносный порыв, а то и прорыв, куда-нибудь, в нежданное измерение, в зазеркалье, за грань реальности, в новый век, в параллельный мир, вбегает, но так, что, похоже, взлетает, а то и возносится, топоча по ступенькам лестничным, а порой проносясь над ними неким стустком энергетическим, так, что искры в подъезде сыплются с плеч его или с крыльев, может быть,

и какие-то вспышки странные остаются надолго в воздухе на безумном или осознанном как спасенье от наваждения, от ненастья и отчуждения, ставшем отзвуком убеждения, сокровенном его пути, – скорее, как можно скорее, – ко мне, потому что жду я и снова его пойму я, – вверх, на четвёртый этаж.

Некогда ждать лифт. Незачем. Не до этого. Какой там лифт, если сам он так о себе сказал:

– Скучая, любим и ведом, в России, где морды биты, я должен твоим поэтам двенадцать копеек лифта!

Его несёт – а вернее, ведёт неясное что-то, труднообразимое, видимо – невыразимое, но что же? Да кто его знает! Ведёт и ведёт. Ну и пусть!

Он врывается в дверь – с разгона. Или нет, конечно – с разлёта. Беззаконной кометой, что ли? Колобком из сказки? Ну вот! Сразу – сказка. Но как – без сказки? Несмотря на сплошные встряски, он действительно весь – оттуда. Это очень ему идёт.

Но кто же он? Это уж пусть гуртом – в грядущем – другие гадают. Себя он оставил им – «на потом». Быть может, и распознают.

Вот он – стоит передо мной.

Гений. Смогист. Мальчик больной.

Парень дворовый. Почти хулиган.

Кореш богемный. Губаныч. Губан.

То ли подросток, то ли старик.

Что в нём за сущность? Плач? Или крик?

Что в нём за тайна? Что за печаль?

Сроду не скажет ведь! Как его жаль!..

Белое, словно гипсовое, мертвенное, застылое, свечой бессонной ночью сгоревшее и оплывшее, бездонное, отчуждённое, в безмолвную глубину ушедшее, пугающее, бескровное, отверженное лицо.

Маска? Нет, на лбу – поволока ледяного, давнего страха.

В серых усталых глазах – тусклый отсвет смятения.

Взмокшая чёлка взъерошена, ворот белой рубахи торопливо, рывком, расстёгнут, чтоб свободнее было дышать.

– Всё кончено, всё кончено. Стихи мои повенчаны. На пальцах черви кольчатые, над головой бубенчики. Сады опали яблоком, пропахли мысли порохом. И Муза – в платье ярком, и рифмы – звонким ворохом. Лежу седым преступником, кричу слепым наставникам: меня не арестуете и Музу не заставите петь! Не для вашей радости да не из вашей волости. Ну а пила для храбрости – чтобы не сгинуть в подлости.

Лёня предельно взвинчен. Дальше – просто уж некуда. Настолько, что может, кажется, взвиться пружиной ввысь.

Длинные пальцы его то судорожно сжимаются, то с усилием распрямляются, чтоб сжаться мгновенно вновь.

Губы упрямо сомкнуты, обиженно, как-то по-детски, очерчены, в уголках их видна застывшая кровь.

Ноздри буквально трепещут. Щёки небритые дёргаются в нервном, беспомощном тике. Спазматически ходит кадык.

Он шумно вдыхает в себя воздух, и лишь постепенно спадает со всей его небольшой, но крепкой фигуры чудовищное напряжение, сходит зыбкая тень отчаянного движения, оголтелой, безумной гонки.

Тогда он устало закуривает, смахивает ладонью нависшее вдруг невесомое колечко сизого дыма.

От кого он бежал? От чего?

Он отмалчивается. Ну и пусть.

Куда он бежал – знал. Ему спокойно со мной.

Мы сидим с ним в пустой квартире, в тишине, в наступивших как-то незаметно и быстро сумерках, совершенно одни – и молчим.

Потом говорим с ним зачем-то что-то совсем простое – о житье-бытье, о погоде, о понятном, вполне земном.

Губанов не сразу, конечно, а так, по чуть-чуть, понемногу, оживает. Ну, слава Богу! Существует – в яви своей.

Видит оставшийся в старом, тёмном, в потёках, подсвечнике оплывший, слегка изогнутый огарок жёлтой свечи.

Зажигает привычно спичку, подносит её к фитильку.

Долго, пристально, весь уйдя в свет мерцающий, смотрит на пламя.

– А на столе свеча горит, горит Душа моя, не тает, и Ангел с Богом говорит, и Бог над Ангелом рыдает.

За окнами – там, где страхи его донимали, – темнеет.

Губанов, совсем по-домашнему, негромко читает стихи.

– И Бог над Ангелом рыдает...

В начале семидесятых Губанову тяжело было жить, работать, просто – дышать, ощущать себя полноценным, востребованным, как ещё недавно и, казалось ему, так давно, человеком, ну а тем более – знаменитым в стране поэтом, нарасхват зазываемым ранее, днём и ночью, в любые компании, чтобы там он стихи читал и народ опять поражал, чтоб его на руках носили, обожали, ценили, чтили, подражали ему, желали познакомиться, подружиться, угощали вином, хвалили, по Москве на такси возили, всё, что он вытворял, прощали, без конца его выручали, вызволяли из всяких бед, потому что был он поэт, а не так, не хухры-мухры, словом, были к нему добры и внимательны все подряд, с кем он шёл сквозь рай свой и ад, с кем пудами ел вместе соль, пил, бузил, воспевал юдоль, уж такую, какой она, видно, свыше ему дана, – без своего, по его разумению, детища – СМОГа.

Ему, общительному, остро нуждающемуся в реакции окружающих на стихи, живущему – действием, соборностью, перекрыли все пути, по которым он мог двигаться, обрубили все нити, связывающие его с миром.

Может, и не все, поскольку так вот запросто, пусть даже исходит это от властей, эти нити все разом никак не обрубишь, и связь с миром прекращается лишь тогда, когда человек умирает, а Лёня, слава богу, был тогда ещё жив, и какие-то из нитей, которые не заметили, проглядели зоркие, бдительные, жестокие структуры, откуда исходили всевозможные запреты, оставались, были целы, ведь иначе и быть не могло, но так ему казалось, так – мнилось.

Впадая в отчаяние, в тоску, в свои сложные, крайне тяжёлые, состояния, периодически охватывавшие плотным кольцом его, мятущегося,

мечущегося по Москве, по знакомым домам, или же прячущегося непонятно где от всех и всего, переживающего свою боль наедине с собственной душой, а потом с большим трудом, буквально из кусков, по долгу, внутренне собираясь, он всеми силами стремился сохранить за собой положение лидера московской богемы.

– Ни веры, ни надежды, ни любви, стеклянные свидания в пыли. Лицо своё на зеркале возьми. Казни меня, казни меня, казни. Наверно, это в чёрных городах с монетою и чёлка молода. Наверное, но только не покой – с того бы света я ушёл к другой. Ты знаешь, ты сегодня – береста. Последнюю причёску перестань. У гробика иконы убери. Ни веры, ни надежды, ни любви! Я на рассвете жуткого письма, но утром, к четырём часам, весьма... Я вспомню прорубь в трёх верстах от глаз, и эта <...> мне не даст отказ. Я завяжу на шее гордый шарф, я попляшу, я поплюю на шар – на шар земной, который груб и скуп, где спят зимой и где весной умрут, на шар земной, где у больных мука, на шар земной, где у здоровых – мука, на шар земной, где мне твоя рука напоминает уголок и уголь, где спят, как жнут, перебегая ять, где яда ждут, как ждут любимых мять, где день и ночь в халате пьянь и лень, где тень, как дочь, а если дочь – как тень, картонный раб, и на ресницах тушь, в конторах драк служивых десять душ, в моментах птиц – еврейская печаль, в конвертах лиц – плебейская печать. Работай, князь! Дай бог вам головы, всё та же грязь – управы и халвы. Надейся, раб, на трижды гретый суп, оденься, наг, и жди свой Высший Суд. Солите жён, дабы пришлись на вкус, над платежом не размышлял Иисус. Я наклонюсь над прорубью моей – «О, будь ты проклят, камень из камней!..» Где вечно подлость будет на коне, а мы, как хворост, гибнем на огне. Когда, земной передвигая ход, разучатся смеяться и плошать, я – то зерно, которое взойдёт, не хватит рук, чтобы меня пожать. Ну а пока крепи меня, лепи. Ах, как же тянет спать да спать в гробу – ни веры, ни надежды, ни любви – я написал на белоснежном лбу!..

Но времена изменились.

Изменились они очень сильно, как-то вдруг, для многих – стремительно, для немногих – закономерно, и были они – другими, чем те, к которым привыкли все мы, то есть – родные, крылатые шестидесятые, с их молодостью, и храбростью, и радостью, вовсе не странной для нас, потому что она была нам вполне по возрасту, по силам, тогда безмерным, по нраву, тогда крутому, по многим ещё причинам, для нас дорогим и важным, – теперь же, мы понимали, настали для всей богемы иные совсем времена.

Никто и не думал отрицать наличие его громадного дара.

Никому это и в голову бы не пришло. Делать это бессмысленно, и такое вот лобовое, прямолинейное отрицание обычно сводится к абсурду и не лучшим образом, если вспомнить о разумности подобных выпадов, характеризует всяческих злопыхателей. Поскольку дар есть дар, и он, да ещё такой, как у Лёни, вообще крайне редок, и сам за себя говорит, и существует, несмотря ни на что, а часто и вопреки всему, что хотело бы его погубить, унижить, окутать завесой замалчивания, – то он, будучи, по природе своей, жизнестойким и житнетворным, сам себя ещё и защищает.

Просто – жить стало сложнее, и сложность эта поначалу озадачивала, хотя, вскоре к ней притерпелись, но она ощущалась как изрядная тяжесть, для большинства непривычная, и утрата былой лёгкости в отношениях оказалась невосполнимой ничем, и уже вселяла в души тревогу по поводу возможной утраты свободы, и требовала напряжения всех человеческих сил, – и далеко не всегда удавалось общаться столь же интенсивно, как прежде.

Да и усвоение духовных ценностей – занятие, согласитесь, настолько важное, что тут и соваться с вопросами и советами нечего, – было делом сугубо индивидуальным.

Ещё во многом следовало разобраться, многое передумать, находя для себя верные ориентиры и в странноватой, зыбкой действительности, пока что не устоявшейся, дрожжевой, и только начинающей преподносить сюрпризы и, с изуверской расчётливостью и актёрской привычкой к выразительным паузам, постепенно, снимая маску, показывать истинное своё лицо, – и, конечно же, в области творческой.

Это требовало неторопливых ритмов.

Лёнины же ритмы, нервические, импульсивные, с надрывом и перебором, для некоторых становились тяжелы, а то и невыносимы.

Губанова это обижало. Ему, не привыкшему к любого рода запретам и отказам, донельзя избалованному богемной, шумной, щедро сдобренной выпивкой и похвалами, двойственной, в общем-то, славой, об уровне которой он, с самого начала своего взлёта и в дальнейшем своём кружении по мистическим кольцам столицы, на удивление трезво заботился, – казалось это, прежде всего, проявлением зародившегося и уже непрерывно растущего человеческого невнимания.

– Этой осенью голою, где хотите, в лесу ли, в подвале, разменяйте мне голову, чтобы дорого так не давали. И пробейте в спине мне, как в копилке, глухое отверстие, чтоб туда зазвенели ваши взгляды... и взгляды «ответственные». За глаза покупаю книжки самые длинные, баба будет любая, пару чёрных подкину ей. За такси очень ласковое, шефу с рожею каменной я с презреньем выбрасываю голубые да карие. Ах, копилушка-спинушка, самобранная скатерть, мне с серебряной выдержкой лет на пять ещё хватит. За глаза ли зелёные бюю зелёные рюмки, а на сердце влюблённые все в слезах от разлуки. Чтоб не сдохнуть мне с голоду, ещё раз повторяю – разменяйте мне голову, или зря потеряю!..

Груз собственных, сверхнасыщенных эмоциями, пронизанных пульсациями времени, озарённых вспышками прозрений и гнетущих его предчувствий, полных щемящего лиризма и эпического размаха, диковатых, сумбурных и таких оголётно-подлинных, стихов – оказывался порою, в прямом смысле слова, несносным для него.

Это не было напечатано, в книгах ли, в периодических ли изданиях, как и полагается, как и надо бы по-хорошему, по-людски, да к тому же ещё бы и вовремя, – то есть не жило отдельной, особой, уже ни в чём не зависящей от автора, жизнью, в которую мог бы, наверно, войти настоящий, хороший читатель, друг поэта, неведомый или знакомый ему, но всегда возникающий в жизни печатного слова.

Это было записано на бумаге, в любимых Лёней больших тетрадях, наподобие амбарных книг, его характерным отчётливым почерком, так, что каждая буква в строке существовала и вроде бы рядом

с другими, и отдельно, сама по себе, как и сам Губанов, заметим, – или же просто, без всякой записи, держалось в голове, и вспоминалось навязчиво, ежесекундно, и томило его, тревожило, а не просто слегка волновало, – нет, его это мучило, жгло, – и он чувствовал потребность кому-то это прочитать, чтобы этот «кто-то» проникся прочитанным, понял его.

– И буду я работать, пока горб не наживу да и не почернею. И буду я работать, пока горд, что ничего на свете не имею. Ни пухлой той подушки мерзкой лжи, ни жадности плясать у вас на теле, ни доброты – похваливать режим, где хорошо лишь одному злодею. Ни подлости – друзей оклеветать, ни трусости – лишь одному разбиться, ни сладости – по-бабьи лопотать, когда приказ стреляться и молиться. И буду я работать, словно вол, чтоб всё сложить и сжечь, что не имею. И как сто тысяч всех Савонарол кричу – огня, огня сюда немедленно! В плаще, подбитом пылью и золой, пойду лохматый, нищий, неумытый по пепелищам родины другой, как тот весёлый одинокий мытарь. И буду я работать, пока гор не сдвину этих трупов, что зловонят, и буду я в заботах, как собор, пока всё человечество зло водит за ручку, как ребёнка, и шутя знакомую даёт ему конфету – ах, Бога нет, прелестное дитя, и Бога нам придумали поэты. Но есть, есть Страшный Суд, и он не ждёт, не тот, который у Буонарроти, а тот, что и при жизни кровь с вас пьёт, по щёчкам узнаёт вас при народе. Ах, что вам стыд, немного покраснел, но кровоизлияние – не праздник. Да, на врачей вам хватит при казне, как вам хватило дров при нашей казни. Но буду я работать, пока гол, чтоб с царского плеча сорвать мне шубу, когда уже зачитан приговор и улыбается топор не в шутку. Но буду я работать до тех пор, пока с сердец не сброшу зло и плесень. Ах, скоро, скоро вас разбудит горн моих зловещих, беспощадных песен!..

Каждой клеточкой существа своего ощущал он, что его намеренно загоняют в угол, сознательно и жестоко лишают возможности дышать, но не желал с этим наваждением смиряться.

Коренастый, губастый, взлохмаченный, то ли этакий богатырёк сказочный, то ли Емеля, то ли Иванушка, но ему, во всяком случае, вполне подошло бы музейное, старинное, небольшого, по меркам нынешним, размера, воинское облачение, – да и вообще, как любил он подчёркивать, со значением и мальчишеским самолюбованием, приводя приятную для него и лестную аналогию, такого же роста, как Стенька Разин! – боец, вождь, он снова страстно мечтал оказаться во главе своего воинства.

Но проявлять активность – да и просто-напросто рыпаться, возникать, слишком часто, больше положенного, напоминать о себе, и особенно предпринимать какие-нибудь, смогистского толка, скандальные акции, вроде многолюдных демонстраций, чтений в известных своей демократичностью научно-исследовательских институтах, вроде Курчатовского, и так далее, – то есть, выражаясь грубее и резче, мозолить глаза властям, – ему многозначительно и категорично, чтобы знал, что предел есть любому терпению, не рекомендовали.

– Благодарю за то, что я сидел в тюрьме, благодарю за то, что шлялся в жёлтом доме, благодарю за то, что жил среди теней и тени не мечтали

о надгробье. Благодарю за свет за пазухой иглы, благодарю погост и продавщицу за то, что я без паюсной икры смогу ещё полвека проташиться. Благодарю за белизну костей, благодарю за роковые снасти, благодарю бессмертную постель, благодарю бессмысленные страсти. Благодарю за серые глаза, благодарю любовницу и рюмку, благодарю за то, что образа баюкали твою любую юбку. Благодарю оранжевый живот своей судьбы и хлеб ночного бреда. Благодарю всех тех, кто не живёт, и тех, кто под землёю будет предан. Благодарю потерянных друзей и хруст звезды, и неповиновенье. Благодарю свой будущий музей благодарю последнее мгновенье!

Он зачистил в психушки.

О, эта чудовищная, псевдоврачебная, совдеповская затея, эти предприятия по переделыванию здоровых людей в законченных инвалидов!

Слишком уж много моих приятелей прошли через этот ад, потому и есть у меня должное о нём представление.

Сам я – чудом его миновал. Повезло. Слава богу, что – так. Но хватало мне встарь нервотрёпок и на воле, без всяких психушек, и ещё неизвестно, что хуже, и не хочется сравнивать их, потому что и то и другое – элементы системы одной.

Лёнина эпопея с психушками – затяжной, сплошной, откровенный мрак.

Помню, в середине шестидесятых ещё, в первый раз я поехал его навестить в больницу Кащенко. Привёз ему продуктов немного – чтобы поел, пачку чаю индийского – чтобы пил в своё удовольствие, стопку бумаги и авторучку – чтобы стихи писал, маленький томик Хлебникова – самый распространённый тогда, из малой серии «Библиотеки поэта», – чтобы читал.

И Лёня был тогда парень хоть куда!

Он выбежал ко мне такой оживлённый и радостный, будто находился не в дурдоме, а в доме отдыха.

Порывисто, весело, с широчайшей улыбкой во всё лицо, с озорным, немного лукавым огоньком в широко раскрытых серых глазах, обнял меня. Потом, по привычке столичной своей, чего я не очень-то любил, почеломкался.

И, сразу, с места в карьер:

– Старик! У меня всё в порядке. Ну подумаешь, мать сюда посадила! Здесь все врачи меня любят. Стихи мои любят. Я здесь рисую. Пишу. А когда попросят, врачам и медсёстрам стихи читаю. В общем, лафа! Ну, побуду здесь некоторое время, сколько там полагается. Думаю, что недолго. Зато отдохну. Витаминчиками подлечусь. А потом и отпустят меня восвояси. И снова буду на воле.

Довольный такой, оптимистичный, что я прямо диву давался, глядя на него, так оживлённо повествующего мне о своей расчудесной дурдомовской жизни, – и это на фоне больничных корпусов, палат, наполненных то истошно вопящими, то стонущими, то молчаливо глядящими перед собою людьми в измятых халатах, блёклых стен, решёток на окнах, то и дело проходящих мимо с каменными лицами врачей, каких-то грязных кастрюль, мисок и чанов, затхлои вони из кухни, шаркающих по полу подошв, тусклых электрических ламп, бьющихся в стёкла мух, паутины в углу, треснувшей штукатурки на потолке...

Да... Курорт. Дом отдыха. Санаторий.

А Губанов мне:

– Мы тут и поддаём, иногда. Если кто пронесёт с собой бутылку. Володя Высоцкий лежал здесь. Выписали его недавно. После запоя в себя приходил. Мужик что надо! Мы с ним подружились. Выйду отсюда – в театр к нему пойдём, на Таганку. Он звал. Ему стихи мои очень понравились. Мы с ним часто курили вдвоём, разговаривали. И он, представляешь, всё время просил меня почитать ему ещё разок. Ну, я, конечно, читал. И, ты знаешь, когда читал, то поглядывал на него – как он слушает? А он всегда расчувствуется, взбудоражится, и даже слёзы у него на глазах, и говорит, что это здорово, что вот это стихи так стихи! Жалко, что уже свалил он отсюда. А то с ним хорошо было поболтать. И выпить ему втихаря приносили. И я с ним к бутылке прикладывался. Не жизнь, а малина!

Я поглядывал по сторонам – и особой малины вокруг что-то не замечал.

А Губанов мне снова:

– Здесь Володя Яковлев лежит постоянно. Врач мне гору его работ показывал. У них тут целый музей. Творчество психов. Живопись и графика. И моих рисунков там полно. Володя, как только ляжет сюда в очередной раз, так сразу и рисовать начинает. У него и краски с собой, и бумага. Вина он не пьёт, ты знаешь. А курит много. Мне врач вчера говорил: Яковлев дымит, как паровоз, глотает лекарства, молчит – и только и делает, что рисует. А работы раздаривает. Кто хочет, то их и берёт. Эх, поздновато я сюда залёт! Яковлев незадолго до меня выписался. А то я его разговорил бы. Может, и нарисовал бы меня. Художник-то он гениальный. А врачи о нём пишут, что псих. И репродукции с его работ в научные книги свои помещают. Вот, мол, какой у них имеется давний пациент. Врач меня стихи иногда переписать для него просит. Я для него по памяти уже много чего переписал. Здесь хорошо! Можно с людьми пообщаться. И я не скучаю. Да ещё и пишу свои новые вещи. Ничего, скоро выйду. И тогда нагуляюсь по полной программе. И ещё такое придумаю, что Москва изумится!..

Я смотрел на Губанова, слушал его – и вздыхал.

Это были – ещё цветочки.

Ягодки начались потом. И довольно скоро.

И тогда, по мере нарастания случаев, когда его вдруг, ни с того ни с сего, вроде бы, вырывали насильственным образом, выхватывали, изымали из привычной для него, сумбурной, переполненной происшестввиями и впечатлениями жизни, унижая тем самым, придавливая, чтобы не рыпался, чтобы заглох, и в очередной раз помещали в психбольницу, где закармливали спецлекарствами, притупляя сознание, подавляя волю, старательно разрушая личность его, и кошмару этому надо было как-то сопротивляться, чтобы выжить, и надо было суметь остаться самим собой, – пребывание там вовсе уже не представлялось ему занятным, беззаботным, почти безоблачным времяпровождением в доме отдыха.

Психушки стали, если так можно выразиться, теневой, очень мало известной любителям его стихов, львиную долю его времени в совокупности своей сожравшей, стороной нелепой и хаотичной губановской жизни.

Сознательно, чтобы чего-нибудь не натворил, его упрятывали туда в годовщину пятидесятилетия советской власти, и до этого, и после этого, и множество раз, и не могло всё это пройти бесследно для его здоровья.

– Я провёл свою юность по сумасшедшим домам, где меня не смогли разрубить пополам, не смогли задушить, уничтожить, а значит, мадам, я на мёртвой бумаге живые слова не продам. И не вылечит тень на горе, и не высветлит храм, на пергамент старушечьих щёк оплывает свеча. Я не верю цветам, продающим себя, ни на грамм, как не верят в пощаду холодные губы меча.

Со своим больным сердцем и никуда не годными нервами он был, тем не менее, на редкость вынослив.

Мог мобилизовать волю. При случае проявлял чудеса героизма. Или, наоборот, являл собою образец терпеливости. Заводился – с пол-оборота. Срывался – так уж на всю катушку, безоглядно, без тормозов. Держался – на упрямстве.

Алкоголь впрок ему не шёл. Пьянел он быстро, терял контроль над собой и мог выкинуть что-нибудь из ряда вон выходящее, набузить, надерзить, влипнуть в историю.

– Грею ли обледеневшее имя, водку ли лью в раскалённые губы? Строится храм батраками моими – каждой буквой и доброй, и грубой. Иконописцы ли жизни лишались, шмякаясь вниз и за хмель и за гонор? Ведьмы ль на карих бочонках съезжались? Казнь полоскала волшебное горло. Только ли врётся и только ли пьётся, только ли нервы в серебряных шпорах, и голова под топориком бьётся, словно бы сердце в развалинах школы. Только ли гений, скорее глашатай и оглашенный по чёрному счёту, очень мне жалко, не я ваш вожатый – всё, кроме Бога, послали бы к чёрту!

Но его любили. И некоторые – пусть и не все – любили его по-настоящему.

Ему всё – или почти всё – пусть и поворчав, для порядка, пообижавшись, подувшись, – прощали.

Он словно нёс в себе, как в одном донельзя спутанном какими-то коварными духами клубке, вместе с дичайшими выходками и малоприятными, к сожалению, а потому и всякими сплетниками обсуждаемыми охотно и часто сторонами его, уж такой, какова она есть, нестандартной, так скажем, натуры, – и раскаянье, и смирение.

– Моя звезда, не тай, не тай, моя звезда – мы веселимся, моя звезда, не дай, не дай напиться или застрелиться. Как хорошо, что мы вдвоём, как хорошо, что мы горбаты пред Богом, а перед царём как хорошо, что мы крылаты. Нас скосят, но не за царя, за чьи-то старые молебны, когда, ресницы опая, за пазуху летит комета. Моя звезда, не тай, не тай, не будь кометой той задета лишь потому, что сотню тайн хранят закаты и рассветы. Мы под одною кофтой ждём нерукотворного причастья и задыхаемся копьём, когда дожди идут не часто. Моя звезда – моя глава, любовница, когда на плахе я знаю смертные рубахи крахмаленные рукава. И всё равно, и всё равно, ад пережив тугими нервами, да здравствует твоё вино, что льётся в половине первого. Да здравствуют твои

глаза, твои цветы полупечальные, да здравствует слепой азарт смеяться счастьем за плечами. Моя звезда, не тай, не тай, мы нашумели, как го-стинцы, и если не напишем – Рай, нам это Богом не простится.

Необузданный нрав его – не природное свойство характера, но скорее – от вызова, от желания защитить замечательную детскость, всегда жившую в нём и бывшую его сущностью.

– Скоро, одиночеством запятнанный, я уйду от мерок и морок слу-шать зарифмованными пятками тихие трагедии дорог...

Угловатый подросток, да и только.

И в жизни, и в стихах.

– Ах, меркнут сумерки кругом. Ох, мелом судороги крестятся. Как семиклассник, я влеком коричневой спиной лестницы...

Задиристый паренёк из московских дворов.

– Я – Дар Божий, я дай Боже нацарапаю...

Школьник, из числа способных, но хулиганящий.

– Я сам твой первый второгодник, чьи дневники никак не тонут...

И – глубоко, по-своему, верующий человек, заядлый, по своим за-дачам и возможностям, книгочей, благодарный, тоже по-своему, не всегда, к сожалению, а в прямой зависимости от сиюминутного своего состояния, от каприза или порыва, то чаще, то реже, слушатель тех лю-дей, от которых мог, или мог бы, он почерпнуть нечто важное для себя.

– Стыжусь ваших глаз, боюсь непритворно. Спаси меня, Спас мой Нерукотворный!

Соединение противоположностей как-то запросто, по-домашнему, и свободно в такой степени, что отдавало почти полным отсутствием контроля над собственными поступками, утратой чувства меры, а то и откровенной, без малейшей даже маскировки, распушенностью, что я не без оснований ставлю в вину развращавшей его, преувеличенно, с примесью сладкой лжи, захваливавшей, спаивавшей, сбивавшей с толку, то есть выполнявшей нехорошую работу, словно от тёмных сил зла получившей задание сгубить человека и усердно из выполняв-шей, вполне определённой, псевдобогемной прослойке в столичном богемном роении, – правда, и сам Губанов был далеко не подарок, и слишком уж часто себе позволял такое, чего позволять не следовало, но дар у него был, и дар этот был настоящим, и порою, спохватываясь, то сам Лёня отчаянно боролся за него, за его сохранение, то дар его, точно смилостивившись, выручал его, вывозил, в силу своей подлин-ности, а следовательно, и живучести, но годы шли и шли, и развитие губановское то делало рывок вперёд, обнаруживалось в новом каче-стве, и этим радовало, то сызнава притормаживалось, и это огорчало, но вера в движение оставалось, и происходил наконец новый рывок, и дар его, укрепившись, воспрянув, расцветал, как бывало когда-то, в молодости, в лучшую, самую сильную, ошеломляюще яркую пору его творчества, – да, что и говорить, соединение противоположностей, разнополярность многих его черт, настроений, сторон характера, в не-прерывном брожении общем, кипении, с доведением до высшей точки нагрева, со взвинчиванием и разрушением всех нервов, живых клеток, частиц своего естества, с маниакальной потребностью постоять, ещё и ещё, «у бездны на краю», побывать на грани гибели или прозрения, заглянуть за черту, прогуляться в зазеркалье, совершить путешествие на тот свет, а потом и вернуться обратно, как ни в чём не бывало, не-прерывно, то по-детски, любопытствуя, то по-юношески, с озорством,

то с беспечностью вневозрастной, на авось, то сознательно, целенаправленно, играть с огнём, испытывать себя всё в новых, желательных экстремальных ситуациях, проверять себя на прочность, разуверяться в чём-то, а потом во что-то уверовать, и жить, жить, жить, жадно, стремительно, пламенно, и спешить, и куда-то лететь, и взлетать над землёй, воспарять, и обрушиваться неожиданно вниз, на ту же самую землю, падать, с болью, с мукой, с увечьями, и при этом смотреть в небеса, и вставать, и мчаться вперёд, и, очухавшись, рваться ввысь, и всё это называлось особым соединением разных противоположностей, – и всё это, всей этой кипенью, действительно уживалось, уживалось в нём, как и в неустанно воспеваемой им России, у которой, по его ещё юношескому и с годами только крепнущему убеждению, «всё впереди, всё впереди».

Сейчас, в наше с вами, свободное, или псевдосвободное, может быть, но такое, какое уж есть, и какое отпущено всем, сложноватое, как и всегда, невесёлое, в общем-то, время, но зато и такое, в котором вдосталь всяких полезных открытий и действительно замечательной, многоликой и многозначной, настоящей, живой новизны, как-то слишком охотно и много рассуждают, все поголовно, кто поглубже, кто по верхам, о всякого рода энергиях.

Конечно, они есть. Как им не быть – в мире? Само бытие, весь космос, жизнь в нём – сплошные энергии. И слово, и мысль, и музыка, и живопись, и любовь, и грусть, и радость – энергии. Время, а с ним и пространство, и память – тоже энергии. Везде, во всём и всегда, вокруг – сплошные энергии. Круг из энергий. Коло. Шар. Дом. Свет. Дух. И – путь. Везде на пути – энергии. И – свет созиданья. Так. Энергии бесконечны. И воздействие их все мы ощущаем всегда на себе.

Да и мистическое нынче в почёте.

Но оставим в стороне шарлатанство и паразитирующих на модной теме невежд.

Посмотрим на дело серьёзно.

Губанов – поэт мистический, отрицать это невозможно. И – поэт очень русский.

То древнейшее, ведическое, что было у него в крови, порой смутно, порой отчётливее осознаваемое, но врождённое, диктующее образ и строй, постоянно прорывалось наружу, соединяясь с другими, усвоенными им в процессе духовного развития, традициями, в первую очередь с православной верой.

В этом сплаве роли кремня и огнива играли интуиция и вдохновение.

Губанов был прирождённым импровизатором. Надо опять подчеркнуть эту грань его дара и напомнить об этом.

Когда в нём вспыхивал огонь творчества, он, будучи буквально за минуту до этого совершенно другим, весь, моментально, всем своим существом, почуявшим приближение чуда, преображался.

Глаза, дотоле какие-то мутные, словно спящие, вдруг ярко вспыхивали, изнутри, из глубины своей, странным, соединяющим жар и влагу, пламенем, а потом, высветляясь всё более, наполнялись какой-то загадочной, межзвёздной, что ли, материей, или энергией, и стояли, как две звезды, посреди бесчасья, во мгле, на краю беды, и сияли.

В его движениях тотчас же появлялась, я бы сказал, раскованная, вне логики, рискованная сосредоточенность.

Стихи свои зачастую записывал он почти набело, – позже, и то неохотно, вносил иногда в текст некоторые, всего лишь, мелкие уточнения.

Когда же он сам начинал править и упрощать собственные стихи, наивно надеясь, что, может быть, на родине их издадут, – и эта самоцензура и редакторство доморощенное настигали его, бывало, уже в поздние годы его, пусть и дико это звучит, потому что был он тогда, относительно, пусть, но молод, ну – за тридцать, подумаешь – возраст! – что ж, возможно и так, для кого-то, я подумал, но не для него, про себя-то он всё уже знал, – когда же свои стихи переписывал он самолично, подчеркну ещё, без принуждения, по причине, для всех неясной, ум за разум, наверно, зашёл или нечто вроде затмения было с ним, такое бывает, – когда же свои стихи, повторяю, он переделывал, – то всё из них исчезало, что было его, губановским, и получался некий блёклый, невыразительный, так, с отдельными блёстками, но без горения, текст.

Поэтому надо Губанова издавать – лишь в подлинном виде. То, что было записано им – в озарении и прозрении.

Сивилла, наверное, тоже не заботилась вовсе о стиле.

Ведические певцы вряд ли правили свои гимны.

Лирники украинские не брали в расчёт пунктуацию.

Орфею и в голову не приходило работать над текстом с редактором.

Вспомним Хлебникова – «и так далее...»

Следует учитывать громадное воздействие стихов его на людей, особенно при чтении их самим поэтом, впадающим в транс, причитающим, плачущим, кличущим, вещающим, – да и при чтении текстов с листа, когда работает их поле, – чрезвычайно сильное.

Губанов не только сам обладал мощной энергетикой, но и обострённо-чутко воспринимал все приходящие к нему извне «сигналы» времени и пространства.

Был проводником между высшей силой, руководящей его творчеством, и своими слушателями или читателями.

Не зря сказано: на всё воля Божья.

Губанов и был выразителем воли Божьей.

Делал это, как умел. Не всегда осознанно. Потому что в состоянии транса сознание спит, а бессознательное создаёт образы. Сказанные и записанные в таком состоянии слова – не результат лабораторно-дошной работы, но – озарение, ясновидение, пророчество.

Абсолютно всё, что предсказывал Губанов, с Россией уже произошло. И происходит дальше.

По счастью, в лавине трагизма брезжит спасительное, отзывающееся не лживым современным практицизмом, а несокрушимым ведическим разумом «всё впереди».

Лёня, Лёничка! Лёнька. Губаныч.

Заводила, упрямец, страдалец.

Я ещё расскажу о тебе.

А пока что оставайся на старом нашем снимке – молодым, в луче своей ранней и горькой славы.

Смотри и с фотографий начала семидесятых – уже другим, изменившимся, намайвшимся, набравшимся житейского опыта и не желающим

сходить с дистанции; оставайся и на них – поскольку предстоит тебе ещё столько пережить и столько сказать, чтобы оставить всем нам свой образ времени.

Оставайся в стихах своих – навсегда.

– И сгорев, мы воскресаем Вознесенья вешним днём. Небо с синими глазами в сердце плещется моём.

Узнаваем ты в любой строчке.

И свеча твоя – не погасла.

И лицо твоё – не убито.

Свечи не догорели, ночи не отцвели, – вправду ли мы старели, грезя вон там, вдали? Брошенная отрада невыразимых дней! Может, и вправду надо было остаться с ней? Зову служба и праву, прожитое влечёт – что удалось на славу? Только вода течёт. Только года с водою схлынули в те места, где на паях с бедою стынет пролёт моста. Что же мне, брат, не рваться к тайной звезде своей? Некуда мне деваться – ты-то понять сумеи. То-то гадай, откуда вьётся седая нить – а подоплёку чуда некому объяснить.